

ISSN 0321 — 0677

Волна

10 1998

Волна

10

1998



Волга

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издаётся с января 1966 года
САРАТОВ



10

1998

Василий Франк

(1920 — 1996)

Русский мальчик в Берлине

Перевод с английского Вадима Михайлина, Елены Зотовой



Предисловие

Права написать о Василии Семёновиче Франке у меня меньше, чем у тех, кто знал его и дольше, и лучше. Но случилось так, что, познакомившись весной 1990 года в его доме на Винкельмоозерштрассе в Мюнхене, мы прониклись взаимной симпатией. Обитатели этого дома — жена Васи, сильно обрусевшая, но всё-таки англичанка Сюзанна, и их сыновья — английские, но всё-таки и русские мальчики Павлик и Ника, — не дадут, как говорится, соврать: взаимная приязнь переросла в нежную дружбу. Вот все они, ещё вчетвером — загорелые, полуголые, весёлые — смотрят на меня с кипрской фотографии начала 90-х годов. Эту фотографию подарил мне Василий Семёнович вместе с первым распечатанным экземпляром той книги, с которой предстоит познакомиться читателю журнала. «Писал-то я только для мальчиков, — повторял он не раз, ибо годился своим сыновьям в деды, — я не успею сказать им того, что нужно было бы рассказать, когда они вырастут». Всё это произносится спокойно, без надрыва и рисовки. За сказан-

ным — смирение («принять то, чего я не могу изменить») — иногда повторял он излюбленный афоризм старшего брата Виктора), и мужество («изменять то, что я могу изменить»).

Согласно афоризму, нужна мудрость, дабы не выказывать смирения там, где надобно мужество, и не задираться понапрасну там, где нужно смириться.

Василий Семёнович Франк не раз признавался мне в том, что такой мудростью на его памяти обладал только любимый и чтимый им старший брат. Он же, младший брат Вася, должен был жить, как бы переспрашивая себя: что советовал бы мне сделать Виктор? От природы наделённый беспримесной сердечной добротой и доверием к людям, Василий Семёнович — на том последнем отрезке его жизни, когда мне посчастливилось узнать и полюбить его, — обращался к открытому и без подтекста говорящему собеседнику с изумлённо-бесхитростным взором-вопросом: «Да как же иначе жить? К чему вся фило-

Публикуется в сокращении.

Редакция благодарит родных Василия Семёновича, а также Габриэля Суперфина, Олега Рогова, Сергея Рыженкова, Ларису Парфентьеву, Татьяну Пятницыну и всех, кто помогал в издании этого труда.

фия, ухищрения наморщенных лбов, если нельзя соблюдать самые простые заповеди о любви к ближнему, о том, что владеющий теряет, а отдающий обретает?!».

Рассуждая генеалогически, можно сказать так: он прожил жизнь под сенью имени Семёна Людвиговича Франка и в тени оставившего свой след в культуре русской эмиграции старшего брата.

Рассуждая биографически, скажется иначе: Василий Франк живым сердечным усилием воссоздал на том жизненном пространстве, что



ему было подарено, остров беспредпосылочного добротолубия. Не слащавая ханжеская кропотливость с поддакиваниями всякому вздору, но и разочарования, и боль, и вдруг проснувшаяся страсть к старо-новой и совсем ещё чужой России, и недосказанность кому-то о чём-то.

Рюмка горькой при удобном случае и поминутно забываемая в ноздрю щепотка нюхательного табаку, и тоска, тоска от того, что не увидит, как младшие сыновья станут разными людям вопросительно-удивлённую интонацию: «А вы-то, неужели вы живёте иначе? Неужели можно жить по-другому? Что ж, я знал, что будет так, но как трудно расставание, разрыв поколений!».

Не было ничего проще, чем истолковать вопросительный взгляд Василия Семёновича как недоумение чудака. Циник тотчас умер бы, если б смог вдруг понять, что на свете есть и не циники тоже. Вот почему Василий Семёнович щадил и циников. Лицемерие, впечатанное во всякую высокопарность, не сможет пристать к памяти этого доброго человека. Думал я — писать — не писать об этом. И вот всё-таки рискну произнести эти слова: мы никогда не касались в разговорах его веры, религии вообще; но внутренним ухом я всегда слышал моим собственным голосом, хоть и не вслух, произносимые слова, примерно такие: «Вот христианин — не придуманный, не сконструированный в голове воцерковляющегося интеллигента. Но его христианство и не фольклорное, не бездумно-рутинное. Вот человек, не рассуждающий о заповедях, но живущий в сердечном согласии с ними».

Когда он решил написать о своей жизни «для мальчиков», ему нужно было быть уверенным, что они прочитают эту книгу. Поэтому — для страховки — он и написал её по-английски. Написавши, сказал мне: «Сейчас бы сел и переписал по-русски, но уж не возьмусь». Не успел бы, даже если б и взялся...

В 1974 году в Германии вышла книга «Памяти Виктора Франка (1909 — 1972)». Редкий экземпляр этой микроскопическим тиражом выпущенной книжки я получил в подарок от друга семьи Франков, десять лет делившего с ними кров Габриэля Суперфина. Здесь Василий Семёнович вспоминает брата, ещё не зная, впрочем, что впереди его самого ждут годы нового брака, счастье нового отцовства, новые, неожиданные испытания. В этом коротком мемуаре он весь сосредоточен на том, к чему не раз и не два возвращаемся в мыслях мы, знавшие его и любовно склеивающие — пусть бесполезные! — позвонки безвозвратно ушедшего времени. Пусть страницы, написанные в память брата, станут предисловием к книге, написанной «для детей».

12. 2. 98.
Бремен

Гасан Гусейнов

«У меня неудавшийся роман с Россией. Я всегда мечтал о ней, а она не принимала. Так мы и прожили — я там, а она здесь», — сказал Василий Франк в июне 1993 года, когда, наконец, сбылась его мечта приехать в город, о котором так часто вспоминали в его семье, мечтал увидеть место, где он родился.

А родился он недалеко от Саратова в Зельмане (теперь Ровное) в республике Немцев Поволжья, куда по воле судьбы, — а, скорее, в силу исторических обстоятельств — попала его семья.

В 1917 году его отец, Семён Людвигович Франк, по приглашению Министерства народного просвещения переехал из Петербурга в Саратов, родной город его жены, Т. С. Барцевой, и стал ординарным профессором и деканом историко-филологического факультета университета. Осенью 1919 года он вынужден был перевезти семью в Зельман (чтобы прокормить), где ему поручили организовать педагогический институт для немцев-колонистов, а в 1920 году там родился четвёртый ребёнок — Василий. Осенью 1921 года Франки уезжают в Москву, а в 1922 они вместе с большой группой учёных, писателей, философов (около 200 человек) по известному решению советского правительства были насильственно высланы из России в Германию. Пароход, увозивший лучших представителей русской интеллигенции, теперь известен под названием «философский пароход».

Годы, проведённые в Германии, описаны Василием в его воспоминаниях. Почему ему хотелось, чтобы они были опубликованы именно в саратовском журнале? Видимо, потому, что с Саратовом он был связан не только местом рождения, а всей историей своей семьи, традициями, сохранявшимися в эмиграции, воспоминаниями старших о покинутой России, о тех, кто остался по ту сторону рубежа и прежде всего на Саратовской земле.

Мечтой его жизни стала поездка «домой», в Саратов, именно здесь, у истоков своей жизни, хотелось ещё раз осмыслить всё, что произошло с ним, его семьёй, встретиться с родными, оторванными друг от друга на долгие годы по чужой воле. Надо было увидеть Волгу, походить по городу, сохранившему зримые следы жизни в нём очень дорогих ему людей, поклониться родным могилам. Необходимо было восстановить некоторые утраченные звенья истории семьи Барцевых, давно его интересовавшей. Истории необычной. Дед Василия, Сергей Иванович Барцев, почётный гражданин Саратова, управляющий Саратовским филиалом пароходства «Восточное Общество», в молодости «ходил в народ» и по традиции тех времён спас одну из жертв «тёмного царства», вступив с ней в фиктивный брак. Но когда он встретил нашу будущую бабушку, Павлу Васильевну, дочь декабриста Василия Филиппова, выросшую в Нерчинске, красивую, гордую, и они решили пожениться, то «спасённая дама» развода ему не дала, и поэтому все дети С. И. Барцева, а их было четверо, в том числе и наши с Василием мамы, были незаконнорожденные. Только когда первая, так сказать, официальная жена деда умерла (а прошло 30 лет!), тогда на семейном совете решался вопрос: нужно ли с бабушкой венчаться? Нас, внуков, удивляло: почему у бабушки в глазах всегда какая-то затаённая печаль? И только через много лет мы узнали одну из первых страниц истории семьи Барцевых.

Мама Василия Татьяна Сергеевна познакомилась с С. Л. Франком в Петербурге, где она была слушательницей высших вечерних курсов при гимназии М. Н. Стоюниной, а он читал лекции по социальной психологии. Она была необыкновенно красива и умна, и к тому же самостоятельна и решительна.

В 1908 году известный уже в то время учёный едет в провинциальный город к управляющему пароходством просить руки его дочери. Не без колебаний (он старше её, еврей, она должна перед браком перейти в лютеранство, неизбежный переезд в Петербург и т.д.), но согласие было дано. И с этого момента жизнь Тани Барцевой целиком была посвящена мужу: она была любящей женой, матерью четырёх его детей, сподвижником в работе. Героически охраняла в трудные дни покой С. Л., ограждала его от малейших бытовых забот. После его смерти (1950) и до последних дней своей жизни она занималась его архивом, публикацией его трудов, а в 1954 году подготовила сборник памяти мужа.

Они прожили в Германии до середины 30-х годов, о чём рассказывает в своих воспоминаниях Василий. Научная карьера С. Л. Франка до прихода Гитлера складывалась благополучно, но потом всё резко изменилось. Его, как еврея, изгнали из университета. Жили трудно и материально, и, тем более, морально. В то время, по рассказам Василия, отпала мечта всей семьи выкупить за 1000 марок из советской России бабушку Полю — маму

Татьяны Сергеевны (существовала и такая форма «деловых» взаимоотношений между Германией и советской Россией!).

В 1936 году С. Л. Франка вызвали в гестапо и предупредили о последующих серьёзных репрессиях. Стало очевидно, что необходимо было уезжать, и семья неизбежно распалась: сам Франк в 1937 году с трудом перебрался в Швейцарию, Василий и его старший брат Виктор оказались в Англии, а мама и сестра во Франции, куда потом приехал и С. Л.

Жизнь каждого члена этой семьи достойна специального рассказа, но вернёмся к автору воспоминаний. Василий в юности мечтал стать художником, но у них война с фашистской Германией началась раньше, чем у нас, и в 1939 году он, по его словам, «понял — это моя война. Что такое гитлеризм, я уже знал не понаслышке. Записался добровольцем в военно-воздушные силы». Знание нескольких языков определило его военное назначение — радиоразведка. С английской армией он прошёл через Алжир, Тунис, Сицилию, Неаполь, Корсику.

Воевали и другие члены семьи. Брат Алёша участвовал в движении Сопротивления Маки, потом в Американской армии, где подорвался на mine и много лет потом жил с израненным телом и душой. Погиб в 1943 году на войне и первый муж Наташи, англичанин. Старшие Франки в начале 40-х годов, живя во Франции, перенесли жесточайшие испытания, прятались по деревням, порой целыми днями таились во ржи, опасаясь за жизнь С. Л. В 1944 году неожиданно в одной из маленьких деревень около Гренобля появился Василий, который высадился вместе с войсками на юге Франции и нашёл здесь бедствующих и голодающих родителей. Воинский провиант, привезённый им, вероятно, спас родителей от голодной смерти.

В 1946 году Василий демобилизовался, работал переводчиком в Англии, затем много лет в Австрии в Толстовском фонде (помощь беженцам), а потом 25 лет вместе с Виктором на радиостанции «Свобода» журналистом в отделе новостей. По его рассказам, самым для него волнующим была подготовка новостей о России.

Россия в разных образах и ликах во все времена — и не только в воспоминаниях, но и в поступках — жила в семье Франков. Дети всех поколений носят русские имена — Пётр, Сергей, Миша, Филипп, Фома, Ксения, Павел, Николай. Дома всегда и теперь общались только на русском языке. Приезжавшие из России гости поражались прекрасному языку Татьяны Сергеевны, в Саратове при встрече с Василием филологи благодарили его за чудесный чистый русский язык, о котором мы стали забывать. Дочь С. Л. Наташа многие годы преподавала русский язык в университете в Лондоне.

Правнуки С. Л. Ксения и Фома, учась на англо-русском отделении в университете Лондона, довольно часто как стажёры жили в Москве. Ксения как переводчица через Красный Крест поехала в Чечню, где пробыла полгода, а потом в Баку. Её брат Филипп принимал участие в реставрации монастыря в Оптиной пустыни. Их отец, Петр, внук С. Л. Франка, православный священник и филолог, много лет читающий курс истории русской литературы, неоднократно бывал в Москве, возил по обмену английских студентов в Ярославль, а недавно приезжал в Саратов, где собрал материал по истории православной церкви, охотно общался с нашими филологами и, конечно, обошёл все «франковские» места в нашем городе. Дочь С. Л., Наташа, с супругом Питером Норманом, великолепным знатоком русской литературы и особенно русского поэтического языка, тоже побывали в Москве.

Но, пожалуй, самые частые и значительные встречи с Россией были у Василия. Он несколько раз бывал в Москве и Питере, на Соловках, а в 1993 году, когда город стал открытым, приехал в Саратов. Возвращение Франков в Россию шло и идёт на фоне самого главного события — возвращения научного наследия философа С. Л. Франка, имя которого так долго и тщательно изымалось из русской культуры. Библиография русских изданий его трудов всё увеличивается, с ними теперь знакомы не только учёные, но и студенты, без знания его книг теперь уже невозможно представить русской мысли на рубеже веков.

В последний год своей жизни С. Л., по свидетельству его сына, задавался вопросом: «Для чего я вообще пишу? — Русская эмиграция вымирает, а Россия для меня закрыта». Но время меняет многое: и русская эмиграция для нас теперь стала живым и притягательным источником самых разнообразных знаний и эмоциональных впечатлений, а Россия стала открытой для философа Франка.

В истории Саратовского университета узаконено и имя С. Л. Франка как первого декана историко-филологического факультета, на хранение в Научную библиотеку семья передала коллекцию ксерокопий, фотографий, документов, в городе работает философское общество им. Франка (председатель проф. В. Фриауф), редкий университетский

историко-литературный курс, не говоря уже об истории философии, может обойтись без обращения к трудам С. Л. Франка.

Десятидневное пребывание Василия в Саратове оказалось очень насыщенным. Поразительно живой, энергичный не по возрасту, неутомимый Василий обладал даром немедленно при первой же встрече завоевывать души и сердца. Первой была и наша с ним встреча: мы «расстались», когда нам было по два года! Мы выросли в разных мирах, мы воспитывались во всех смыслах в разных условиях, на нас влияли абсолютно отличные друг от друга обстоятельства. Поймём ли друг друга, сумеем ли преодолеть то расстояние и время, которые разделяли нас долгие годы. Родные или чужие? И ещё тысячу вопросов я задавала себе накануне его приезда. В первые же часы все мои сомнения были развеяны: лёгкость в общении, душевная открытость, простота (в высшем значении этого понятия!), скромность во всём — во внешнем облике и поведении и даже некоторая застенчивость поражали в этом вновь обрётённом для меня брате, неожиданно ставшем родным, понятным и очень дорогим. Дни были заполнены встречами, прогулками, поездками, а по ночам, по русской традиции и его настоянию, бесконечные беседы на кухне, рассказы, расспросы, но вместо обычного при встречах близких людей вопроса «а ты помнишь?» звучало — «а ты знаешь?..», а чаще всего просьба «Расскажи...». Но неизменно в заключение задавался один и тот же вопрос: «А ты мне завтра сварить гречневую кашу? Её так же варила моя мама!». И это после всех моих стараний и кулинарных изощрений!

Особым событием для него стала поездка на машине на место его рождения в Зельман (Ровное). Мы проехали по мосту через Волгу, он с интересом рассматривал окрестности, оживлённо обсуждал с моим сыном автомобильные и дорожные проблемы (оба водители!). Но невозможно забыть его волнение при въезде в этот посёлок, его желание найти кого-нибудь из старожилов, кто мог помнить их семью (нашли всё-таки учительницу, которая от матери слышала об их печальном пребывании в Зельмане). Он всматривался в дома немецкого типа, пытаясь представить — в каком же он родился? Рассказывал, со слов мамы, как они привезли сюда пианино, а потом пришлось его обменять на корову: детей надо было кормить. Василий долго стоял на высоком волжском откосе, всматриваясь вдаль. Много фотографировал, был необычно молчалив. При выезде из Ровно нас настигли гроза и сильнейший дождь, и Василий сказал: «Это хорошо, так и должно было быть», — как бы отвечая себе самому на что-то важное, нам не высказанное.

Во время пребывания в Саратове он неоднократно не только с нами, близкими, но и с совершенно новыми знакомыми настойчиво возвращался к вопросу — стоит ли ему переезжать в Россию? Жить в Мюнхене стало трудно, его жена потеряла работу, остаётся его одна пенсия, а за дом надо ещё выплачивать 12 лет, мальчикам 16 и 13 лет. Планы были разные — переезд в Англию или в Россию, и именно в Саратов. В письмах ко мне он вновь и вновь возвращается к этой мысли. Но в 1994 г. Василий перенёс тяжёлую операцию на сердце, что резко изменило все его планы. «Если бы сложилась по-другому судьба — я бы серьёзно думал о том, чтобы провести свои последние годы в Саратове», — писал он мне 14.12.95 года. В этом же письме: «Для меня это пребывание в Саратове (о котором я вообще не мог даже мечтать) было замечательным и неповторимым. Спасибо тебе и судьбе. Прошло 2 1/2 года, и я считаю себя счастливым, что мне, благодаря судьбе, это удалось».

Он часто в разговорах и письмах употреблял слово «судьба», верил в её доброе предназначение. Но судьба распорядилась иначе: 22 июля 1996 года Василий Семёнович Франк неожиданно для всех скоропостижно скончался в Мюнхене. Его похоронили в Лондоне рядом с родителями и братьями.

В письме от 14.12.95 он написал: «Привет всем, кто меня помнит». Помнят. Помнят все, кому довелось встречаться с этим светлым, добрым, умным, лёгким и поразительно живым человеком.

И последнее: Василий ошибался, когда говорил, что у него «неудавшийся роман с Россией». Это не так. И об этом ему сказали в Саратове на одной из встреч. Он ответил: «Сейчас — да. Спасибо. Простите, если это окажется поздно».

Вот в этом, к глубокому сожалению, он оказался прав. Но роман всё равно состоялся.

Ксения Павловская

Эта книга представляет собой неполный, лишённый зачастую объективности и далеко не самый подробный рассказ о детстве и юности, проведённых в Берлине, городе, в котором прошли пятнадцать лет моей жизни и по отношению к которому я испытываю смешанное чувство любви и ненависти, причём последнего — гораздо больше.

Я решил написать о событиях (или, вернее, о личном моём восприятии событий), имевших место в 20 — 30 годах нашего столетия. Надеюсь, это будет небезынтересно для моих сыновей — Серёжи, Павлика и Ники, для Миши и Пети; для моей жены Сюзанны; и для детей моих детей. Я думаю, что когда меня не станет, воспоминания о том необычном времени не должны кануть в никуда. То, что книга написана на английском, а не на русском языке, имеет самое простое объяснение: на компьютере легче писать по-английски.

Только приступив к работе над мемуарами, я понял, что мой личный жизненный опыт может придать событиям тех лет весьма своеобразную окраску. Столько всего написано уже и о «русском» Берлине, и о довоенном Берлине вообще, и всё же... Воспоминания мальчика, русско-го эмигранта, сына Семёна Людвиговича Франка, полуеврея (важность данного обстоятельства я осознал только лишь с появлением на исторической сцене Адольфа Гитлера), обитавшего в чужом и враждебном мире, его личный опыт, практический и эмоциональный, могут добавить к сказанному о тех временах нечто новое. Может быть, именно в этом и заключается значение моего труда. И если кто-нибудь по внимательном прочтении этой книги решится-таки её опубликовать, я возражать не стану.

Психология ребёнка (а затем и юноши), лишённого по тем или иным причинам привычного окружения (родного языка, культуры, нормального отношения к стране, которую принято называть родиной), необычайно сложна, он не может быть похожим ни на одного из тех, пусть даже близких ему людей, кто родился и вырос в родной стране. Конфликтные ситуации, странные, порой неверные ориентиры — от этого ему не избавиться теперь до самой смерти. Для меня результатом странного этого существования стала борьба за собственную русскость. Я старался, как мог, осознанно или интуитивно, противостоять влиянию окружающей обстановки, и это было трудно. Теперь я с уверенностью могу сказать: сия неразрешимая, довлевшая мне все эти годы проблема оставила в моей жизни неизгладимый след. Не мне судить, плохо это или хорошо; одно я знаю точно — я стал бы совершенно другим человеком и, может быть, мой жизненный опыт был бы куда беднее, если бы я вырос в России. Кое-что я, несомненно, приобрёл — ушёл былой провинциализм, появился иной, более широкий (или, скорее, глубокий) умственный и эмоциональный кругозор.

Одним из следствий того, что я вырос в чужой для меня обстановке, стало резкое субъективное неприятие страны, давшей всем нам (и мне, в частности) приют и спасение. Антинемецкие настроения — на уровне чисто эмоциональном — живут во мне и по сей день, чему я сам отнюдь не рад. Всё дело в том, что несправедливость подобного отношения к Германии и к немцам я осознал, будучи уже человеком достаточно зрелым. И надо же, именно в это самое время мне сделались известны факты о всех тех преступлениях, что совершены были немцами, и во имя Германии. Что ж, проблема, мучившая меня так долго, снова оказалась неразрешённой, и я снова стал германофобом.

Моё сознательное и добровольное вступление в Британские Вооружённые силы (призыв на меня не распространялся) объяснялось тем, что это была моя война, и я чувствовал, что не в праве не принять реального участия в деле приближения победы. Но даже и во время боев, когда столько раз смерть была совсем рядом, для того, чтобы перебороть охвативший меня страх, я шептал вполголоса строки Гете, Шиллера и Гёльдерлина. Я знал, я чувствовал, что та Германия, которая сбрасывает бомбы, — это не настоящая Германия. Я был той точкой, где соединились любовь и ненависть к Германии и к немцам, — помните, пожалуйста, об этом, если вам придёт охота поразмышлять над всем тем, что я вам собираюсь рассказать.

Мне было два года и три месяца от роду, когда в конце октября 1922 года папа, мама, Виктор (которого мы, дети, звали Ви), Алёша, Наташа и я отправились из Петрограда на немецком судне «Обербюргермайстер» в Штеттин, а затем — в Берлин. Отец получил место профессора в Русском Научном институте, созданном и финансируемым правительством Пруссии. Мы смогли

уехать из России, когда, после указа о высылке, правительство Пруссии (или речь должна идти о Веймарской республике?) стало выдавать въездные визы и предоставлять политическое убежище людям, занимающимся научным трудом, и их семьям. Профессура Московского университета вынуждена была оставить Россию практически в полном составе после «сократовского» по сути своей обвинения в «растлевающим воздействием на молодёжь».

Многих известных людей, живших в изгнании, я знал ещё в детстве. То были Н. А. Бердяев, С. Е. Трубецкой, И. А. Ильин, Б. Вышеславцев, Ф. А. Степун, Н. О. Лосский, И. Лапшин, Л. П. Карсавин, А. Кизеветтер, А. Флоровский, А. Боголепов, А. С. Изгоев, В. Д. Брутскус, А. Угримов (по своей воле вернувшийся после окончания войны в Советский Союз), Ю. И. Айхенвальд, В. В. Стратонов, Д. В. Кузьмин-Караваев, Яссинский и многие, многие другие.

Самая первая наша квартира находилась на Карл-Шредерштрассе, 1, в Шенеберге, центре «русского» Берлина. В памяти моей всплывает детский сад: неприятное воспоминание. Ненависть моя к невинному этому учреждению объясняется довольно просто — там заставляли пить тёплое молоко. Отчаянные попытки убедить родителей забрать меня из садика («в детском саду живёт тигр») успехом не увенчались, и ежедневные молочные экзекуции пришлось терпеть дальше. Должно быть, на меня всё это произвело настолько тягостное впечатление, что я и по сию пору терпеть не могу молока, горячее оно, тёплое или холодное. Я даже допускаю мысль, что история с молоком сыграла свою роль в формировании подсознательно негативного отношения к немцам: «Ненавистное молоко — ненавистные немцы».

Хотя отец был уверен, что никогда больше не увидит Россию (особенность, весьма для него характерная, — он часто предвидел политические события), мы всё-таки ощущали себя в Германии временными постояльцами, и чемоданное настроение нас не покидало. Германию мы считали своим домом настолько, насколько считают домом снятую на время комнату (что ж, в 1933 году жизнь опять показала норы, вынудив нас эмигрировать во второй раз). Для отца Германия была второй культурной родиной. Он учился в немецких университетах, писал и говорил по-немецки так же хорошо, как и по-русски, и коль скоро речь заходила о немецкой культуре, чувствовал себя «как дома». Потому-то, в отличие от многих своих коллег, он никогда и думать не думал переезжать во Францию.

Даже будучи ребёнком, я чувствовал, что немцы, простые, обычные люди, нас не любят. Из всех иностранцев особенно плохо относились к русским, может быть потому, что эти два народа не так давно воевали друг с другом. К примеру, дети на улице постоянно дразнили меня «Russki-ro-polski». И так до самой школы. Много позже, юношей, в начале правления нацистов, я играл с мальчиком в футбол. Ударив меня в лицо, он заявил, что только так и следует обращаться с русскими: «Wir haben euch einmal besiegt, das naechste Mal werden wir euch vernichten» («Один раз мы вас уже победили, в следующий раз мы вас уничтожим» — здесь и далее данные в скобках переводы с немецкого и французского сделаны переводчиками. — В. М., Е. З.).

Этот эпизод подтверждает искреннюю мою убеждённость в том, что характерные для нацизма черты существовали в самых широких слоях немецкого народа ещё задолго до того, как он сделался в Германии официальной идеологией, что и давало власть предрержащим возможность постепенно проводить в жизнь принцип ненависти к «другим», будь то евреи, цыгане или же славяне.

Параллельно с этой ненавистью, которая коренилась, должно быть, в «Minderwertigkeitskomplex» (комплексе неполноценности) (кстати, а не исконная ли это черта немецкой души?), существовало необъяснимое поклонение всему русскому. Сталкиваясь с подобным русофильством, я всякий раз поражался полной его алогичности. Я слышал, как старшие братья рассказывали о той лёгкости, с которой им удавалось завоевать немецкую девушку. Всё, что от тебя требуется, — говорили они, — это назваться русским, сделать пару раз что-нибудь эдакое, загадочное, и девушка твоя. «Русская душа» для многих немцев была едва ли не волшебным ключиком от всякой двери.

Ксенофобия, с которой я и вообще большинство русских детей сталкивались на улице, заставила меня прийти к выводу: хочешь — не хочешь, я должен быть лучше немецких ребят, смелее, чем они; уметь переносить боль, и тем доказать своё над ними превосходство. Когда нам

в школе делали прививки, мне пришлось сохранять спокойствие и полную невозмутимость, как бы говоря тем самым: «То-то же, мы, русские, привыкли к боли». И мне было радостно на душе, когда остальные ревели или падали от укола в обморок. В бассейне чувство вынужденного «превосходства» заставляло меня прыгать в воду с самой высокой площадки. Мы, русские, должны уметь играть в футбол лучше, чем немцы, и садина на колене — немцы должны были это понять — равным счётом ничего не значила. Однако же комплекс русского «превосходства» не заставлял меня учиться лучше, чем немецкие мои одноклассники. Вероятно, в его основе лежало чисто физическое, а не интеллектуальное начало.

Что-то искусственное и нездоровое было в этой моей детской браваде. Я был вынужден жить в постоянном напряжении, и всякий раз, когда являлась к тому необходимость, преодолевать, ломать себя, совершать над собственной душой акт насилия. Возможно, здесь и кроется одна из причин моей «германофобии». Я слишком рано перестал быть ребёнком. Надо заметить, что идея превосходства была актуальна для обеих сторон. Немецкие ребята — не все, конечно, — делали всё, чтобы меня унижить. Моей естественной реакцией стали высокомерие и насмешка, хотя в глубине души я знал, что это дурно и даже грешно. Не понимая до конца смысла происходящего, считая неоспоримым самый факт своего превосходства по крови, я становился таким нацистом наизнанку, копируя, как будто в зеркале, нацистскую ненависть к «другим». Я и в самом деле чувствовал себя совсем другим, не похожим на окружающих меня людей, — я говорил на двух языках, принадлежал к другой культуре, другой религии, исповедовал иные принципы. И всё же что-то здесь было не так. Даже и сегодня стоит мне только вспомнить о тех весьма далёких днях, и во рту появляется неприятный привкус. Да, конечно, явились наци со своей теорией, делившей людей на собачий совершенно манер («элитное» и «не-элитное» происхождение) на «достойных» и «недостойных», и именно эта теория в силу некоей извращённой интеллектуальной логики дала мне сознание собственного «превосходства».

С началом правления нацистов (в 1933-м мне было 13 лет) дышать стало ещё труднее. В моём юношеском и даже детском восприятии логика вещей была яснее ясного, к тому всё и шло. С другой стороны, раньше ненависть к иностранцам не была элементом национальной политики; как правило, взрослые готовы были прийти мне на помощь, если я сталкивался с ненавистью и презрением со стороны детей. Теперь же ксенофобия, санкционированная всемогущим авторитарным правительством, становилась единственной официальной политикой. В школе такие настроения исходили от преподавателей. Ребята из моего класса были достаточно умны, чтобы не позволить официальной доктрине испортить существующие между нами отношения.

«Мы — лучшие, мы — Богом избранная раса», — вот, грубо говоря, формула моих тогдашних настроений. Подлинное же различие между нами заключалось в том, что моя позиция, рождённая в чужой, враждебной обстановке, была всего лишь защитной реакцией, и весьма беспомощной, другая же сторона была агрессивна, уверена в себе и весьма решительно настроена. Юношеский дух противоречия, неспособность справиться с трудностями, — всё это заставило меня уверовать в избранность русских. Nazi Weltanschauung (нацистское мировоззрение) заключалось в постулировании общественного строя, основанного на концепции превосходства одной расы над другими, что низводило нас, русских, славян, до положения рабов. Весьма непростой характер моих идейных расхождений с немцами я осознал много позже. А пока, не понимая до конца сути любых расовых теорий, я пришёл ко вполне закономерному, с моей тогдашней точки зрения, выводу: теория верна, нужно только её развернуть на сто восемьдесят градусов.

Попытки сопротивляться такому эмоциональному давлению и попытки найти верный ответ привели к страшной путанице в моей голове. Самым естественным образом я ненавидел нацистов, хотя бы потому, что они стали причиной неразберихи в моей душе и мыслях. Да и могло ли быть иначе, если нацизм представлялся мне закономерным продолжением всего моего берлинского жизненного опыта? Спросить совета у отца или у братьев я не смел. Я стеснялся признаться, что подобные вещи волнуют меня всерьёз. Один из вариантов решения проблемы был в том, чтобы сделать себя ещё более непохожим на немцев. После некоторых раздумий я

решил говорить по-немецки с акцентом, заставляя себя коверкать немецкие слова так, как это делал бы невосприимчивый к чужому языку русский. Потренировавшись некоторое время, я стал делать это уже автоматически, действительно заговорил с русским акцентом и усвоил его настолько хорошо, что впоследствии не смог от него избавиться. Несмотря на то, что я вырос в Германии и почти половину жизни провёл в немецкоязычных странах, результаты этой глупой, но всё же вполне объяснимой «мести» сказываются до сих пор. Более того, в 17 лет я приехал в Англию и заговорил с тем же русским акцентом, но уже по-английски. Последствия моей успешной «мести» оказались роковыми — и до сей поры нет такого языка, на котором я говорил бы без акцента.

Конечно же, тех, кто портил мне жизнь в Берлине, было меньшинство. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что ксенофобия, крайние формы национализма находились чаще всего в обратной пропорции положению человека на социальной лестнице. Носителями, а позднее и проводниками идей немецкого шовинизма, были «низшие» классы и мелкие буржуа. Мальчик, явно из самых низов, плюнул мне в лицо потому только, что я «иностранец»; позже ему подобные швыряли еврейских младенцев в печь. Мне запомнился один случай: возвращаясь домой, я заметил неподалёку от Ноллендорфплатц двух молодых людей, злобно споривших о чём-то с одноногим пожилым человеком, вероятнее всего, инвалидом Первой мировой. Спор разгорался. Внезапно один из молодых людей ударил инвалида в лицо, и тот упал на спину, глухо ударившись о мостовую головой. Те двое бросились бежать, выкрикивая на ходу: «Mit Euch Sozis sind wir noch lange nicht fertig!» («Доберёмся мы ещё до ваших “соци”»). Поскольку особой смелостью я не отличался, я тоже побежал, но в другую сторону.

ШКОЛЫ

Практическое осуществление нацистских расовых теорий на уровне школы происходило медленно. В моём классе, в Грюневальд-Гимназиум (гимназия им. Вальтера Ратенау), было много ребят еврейского происхождения; исчезать они стали начиная с 1935 года, что заметно сказалося на культурном и интеллектуальном уровне школы. Началось это сразу же после того, как любимый наш директор, доктор Фильмар, был уволен и его место на директорском посту заняла новая, весьма одиозная фигура — полугорбатый доктор Вальдфогель. На вид, да и не только на вид, он был совершенный кретин. Я называл его «политрук» за его чисто садистские методы управления школой. Так, к примеру, одним из его нововведений (вероятнее всего, он выполнял приказ свыше, но делал это с радостью) заключалось в том, что уроки физкультуры приравнивались отныне по значимости к дисциплинам традиционно академическим (к немецкому, английскому, математике или, скажем, латыни). И если ты был плохой спортсмен, дорога в следующий класс была тебе отныне заказана. Естественно, система эта направлена была в первую очередь против детей интеллектуального склада, среди которых было много евреев.

Такая политика способствовала резкому повышению в статусе преподавателя спортивных дисциплин Нойманна, вполне отвратительного образчика прусского унтер-офицера, каковым, как я выяснил позже, он в действительности и являлся. Свалившейся на него невесть откуда властью он пользовался а *volonte* (охотно, от души — *фр.*). К счастью, я, не будучи немцем и даже арийцем будучи всего наполовину, сумел стать одним из лучших в классе спортсменом, в особенности, если речь шла о футболе. В его фельдфебельской голове это просто-напросто не укладывалось. Как так могло случиться, чтобы полурусский-полуеврей, то есть никак не немец, мог быть проворней других, быстрее бегать, выше прыгать, забивать больше голов, да и вообще быть физически более развитым, чем представители немецкой расы. Он, должно быть, даже страдал по-своему, как страдают те, чьи взлелеенные бережно идеалы вдруг рушатся перед лицом непостижимого и всё ж таки неоспоримого факта. Должно быть, он чувствовал то же самое, что и вся нацистская Германия, когда чернокожий американец Джесси Оуэн победил представителей немецкой расы на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году.

Его отношение ко мне, благодаря моим спортивным достижениям, было странным и весьма противоречивым. Мне удавалось всё то, что он ценил превыше прочего, хотя такого по опреде-

лению даже и быть не могло. Это сочетание любви и ненависти выражалось чаще всего в похлопывании по лицу, в благодарность, скажем, за решающий для всей нашей школьной команды гол — унизительном, как Ohrfeige (пощёчина, оплеуха). Уже в восьмидесятые годы Ханс Брадтке, мой тогдашний одноклассник, рассказал мне один эпизод, случившийся уже после того, как я покинул Германию. Нойманн выстроил перед собой весь класс и стал по очереди подходить к каждому, задавая один и тот же вопрос «Bist du ein Jude?» (ты еврей?). После утвердительного ответа он бил мальчика по лицу; прочих же не трогал.

Я хорошо помню, что где-то вскоре после прихода нацистов к власти — мне было 13 — 14 лет — новый преподаватель выделил меня как типичного представителя арийской расы. Не помню точно, поправил ли я его тогда же, сразу, или не решился. Но как только он понял допущенную оплошность, его отношение ко мне резко переменялось — не в лучшую, естественно, сторону.

В школу я пошёл с 1927 года. Учебный год в Берлине начинается после пасхальных каникул. Мама, чья любовь ко мне неизменно сопровождалась страхом — как бы со мной чего не случилось, — убедила отца не отправлять меня в школу в 1926-м, когда мне было 6 лет и 9 месяцев (тогда так было принято), а подождать ещё год. Не могу сказать, чтобы я многое запомнил из времён начальной школы. Исключение составляет разве что фройляйн Гюнтер, моя первая учительница, добрая старомодная женщина, которая действительно любила детей. После неё меня учила фройляйн Фогт, тоже хороший педагог, благодаря которой я твёрдо усвоил основы математики. Через 4 года, закончив начальную школу, я должен был поступить в среднюю (гимназию). Выбор отца пал на Грюнвальд-Гимназиум, жили мы, правда, от неё далековато, но зато у школы этой была прекрасная репутация. Сдав вступительные экзамены, я был зачислен в первый класс, «Зекста». Директор гимназии, доктор Фильмар, произнёс приветственную речь, обратившись к нам как к «die jungen Herren oder, sollte ich lieber sagen — die Herren Jungen» («Молодые господа, или, я бы охотнее сказал, господа молодёжь»). Когда его уволили нацисты, он собрал нас вместе, довольно смело объяснил некоторые причины своего вынужденного ухода и пообещал, что нам устроят выходной день, когда его не станет. Так оно и вышло.

Пришли нацисты, и вроде бы мало что переменялось в нашей школе, вот разве что... Неподдалёку от школы был мемориал, на том самом месте, где в 1923 году будущими нацистами был предательски убит Вальтер Ратенау, тогдашний германский министр иностранных дел и еврей по происхождению. За несколько дней от мемориала не осталось и следа (сейчас он восстановлен). Постепенно набирали силу антиеврейские законы. Я испытал страшное потрясение, когда узнал, что являюсь «полуарийцем». Сие имело означать деление моей крови на две половины — хорошую и плохую (антирусские настроения тогда ещё не были частью официальной нацистской идеологии). К тому времени я уже знал прекрасно, что мать у меня русская, а отец — исповедующий христианство еврей, но придавать этому обстоятельству существенное некое значение мне и в голову не приходило; прежде всего я ощущал себя русским — и по духу, и по происхождению. С точки же зрения немцев, сей факт был важен необычайно. Мне это объяснили следующим образом — по крови к элите я не отношусь и должен этой непреложной данности и даже самого факта своего существования на свете — стыдиться. Стыдиться, на мой взгляд, мне было нечего, но с данностью пришлось смириться.

По мере исчезновения учеников-евреев школа утрачивала постепенно элитный свой статус и всё больше напоминала тонущий корабль, пущенный ко дну стараниями собственной же команды. О происходящих метаморфозах знали все, но говорить об этом было как-то не принято. Кое-кто из учеников, в основном новички, стали приходить на уроки в форме гитлерюгенда или юнгфолька, чего «старожилы» обычно себе не позволяли. Школа всегда славилась своими либеральными традициями. По счастью, это свободомыслие передалось ученикам: оно и рождало сопротивление характерному для низших слоев общества «кичу». Социальный барьер усиливал деление на «старых» и «новичков». Вакантные места выбывших в неизвестность евреев быстро заполнялись представителями «сомнительных» слоёв, чьё отношение ко мне — иностранцев в школе было немного — было в лучшем случае равнодушным, а чаще враждебным. Мы называли их «Prolet-Arier». Класс поделился постепенно как-то сам собой на две половины,

находившиеся в состоянии перманентной холодной войны; по одну сторону баррикад остались порядочные ребята, причём не только из «стариков», по другую — нацисты, в основном новички.

Всё дело в том, что школа находилась в одном из элитарных берлинских кварталов, где жили в основном евреи. И так уж повелось, что здесь по большей части учились дети из богатых немецких и немецко-еврейских семей, которые приезжали на занятия и убывали после школы домой в роскошных «майбахсах», «мерседесах» и «хорьхах», символах недостижимой роскоши, где за рулём сидели вышколенные шофёры. В донацистские времена я и мне подобные попали сюда благодаря чисто географической случайности: мы жили недалеко от Грюневальда. Со временем места еврейских ребят стали занимать мальчишки из низших слоёв — и принесли с собой нацистское виденье мира.

Моим первым классным наставником был герр Корте, высокий, безукоризненно одетый и абсолютно лысый человек, который во время Первой мировой был в плену в Англии, а потому достаточно хорошо знал английский, чтобы учить языку нас. В первый же день занятий он появился в классе и сразу заговорил по-английски: «Доброе утро, мальчики, пожалуйста, встаньте. Я ваш учитель английского. Меня зовут мистер Корте». Человек он был вполне сносный, водились за ним и некоторые забавные особенности: так, иногда он застывал на несколько секунд с открытым ртом — этакая буква «О». Сие имело означать, как мы выяснили позже, что герр Корте был на что-то или на кого-то сердит. Иногда он мог ударить ученика по лицу — отвратительная форма наказания, принятая в те времена в немецких школах. Я считал Ohrfeige унижительной до крайности и не стал бы такого терпеть даже от собственных родителей. Корте оставался нашим классным руководителем три года. Мне трудно представить его среди нацистов; он был порядочный человек и не настолько трус, чтобы торговать своими моральными принципами.

Повезло нам и с учителем рисования, с герром Нойяром, которого мы называли «Сильвестр». Это был милый, скромный человек, прекрасный рисовальщик; он боялся нас больше, чем мы его. Недавно мне сказали, что он стал довольно известным художником.

Своей любовью к латинскому, который я начал изучать с 13 лет, я обязан доброму нашему и знающему латинисту д-ру Герстенбергу. Предмет свой он любил настолько беззаветно, что трепетное отношение к этому «мёртвому» языку сохранилось во мне (а может быть, не только во мне) и донныне. Мы поняли, что он был еврей, только тогда, когда он просто-напросто исчез, не успевши даже попрощаться с любимыми своими учениками. Латынь давалась мне с трудом, но я её любил — и не в последнюю очередь просто потому, что она усиливала негерманский элемент в тогдашней нацистски ориентированной программе. Место Герстенберга занял д-р Асмус, также добрый, милый и умный человек.

После 1933 года в начале и в конце каждого урока учителя обязаны были повернуться лицом к классу, встать по стойке смирно, сделать суровое лицо и, выкинувши энергично правую руку на уровень глаз, заорать (я не преувеличиваю) «Heil Hitler». Нам велено было отвечать тем же: вытянуть руки, прокричать «Heil Hitler» — правда, надлежащее выражение лица получалось не у каждого. Герстенберг — и это было видно невооружённым глазом — выполнял сей ритуал безо всякого энтузиазма. Бедняга, ему, должно быть, всякий раз приходилось совершать над собой акт насилия. У нас была в те времена дежурная шутка, которая, как и всякая шутка на политические темы, была тогда чревата весьма неприятными последствиями: «Самый подходящий ответ на “Heil Hitler” — “Heil Du ihn doch selber”». (Непереводимая игра слов. «Heil Hitler» по-немецки может быть понято не только как «Да здравствует Гитлер», но и как приказ этого самого Гитлера лечить. Ответ в данном случае: «Сам его и лечи».)

Я никогда не был дружен ни с кем из богатых мальчиков-евреев, слишком явной была разница в социальном статусе. Кроме того, немецкие евреи, особенно преуспевающие немецкие евреи, прекрасно вписывались в донацистские времена в окружающую их среду и восприняли по сей причине большую часть характерных, чисто немецких особенностей, включая и не самые, на мой взгляд, приятные. Меня они не принимали по тем же самым причинам, что и многие немецкие мальчишки. Я хорошо говорил по-немецки, ничем не выделялся внешне, но я был представителем другой культуры, другой социальной, национальной и религиозной среды, и у меня были свои проблемы, зачастую просто незнакомые немецким и немецко-еврейским юношам. Я

полагаю, что внезапная, вынужденная и уж никак незаслуженная трансформация евреев из добродородных немецких патриотов в своего рода париев была для них серьёзной моральной и физической трагедией. Вообще говоря, немецкие евреи были прежде всего немцы, а потом уже евреи. Еврейские буржуа религиозностью не отличались и оставались евреями скорее по традиции, нежели в силу сознательного выбора. Евреи в Германии ассимилировались до такой степени, что не выдвину Гитлер своей бредовой антиеврейской программы, и большая их часть сделалась бы фанатичными сторонниками теории шовинизма, нацистами из нацистов. Евреи — за исключением действительно свободомыслящей и интеллигентной части диаспоры (а таковых в Германии было немало) — националисты. И самые неприятные в немецком тогдашнем менталитете качества — ксенофобия и национальное чванство, корнями уходящие в немецкий шовинизм, — они усвоили безраздельно. С прусской военной кастой они были зачастую связаны и узами чисто родственными: дело в том, что во второй половине 19 века среди прусского офицерства существовала своего рода традиция, основанная чаще всего на соображениях чисто финансовых, — жениться на еврейках с тем, чтобы иметь возможность вести подобающий по статусу широкий образ жизни.

Даже я, не понимая до конца трагической сути происходящих перемен, не мог не замечать, как постепенно, начиная с 1933 года, растёт в Грюневальде число домов и вилл с вывешенными снаружи табличками: «Zu verkaufen» («Продаётся»), особенно это стало заметно в начале 1935 года, когда евреи начали, наконец-то, осознавать: Германия для них больше не Vaterland, но, скорее, общая могила.

Несмотря на явную онемеченность еврейских ребят, двое из них стали моими друзьями. Один был богат, другой — беден. Мальчик из бедной семьи, как и я, жил в Халензее, и его родители, подобно моим, воспользовались возможностью отдать сына в элитную школу. Звали его Петер Винд; он был очень маленького роста. Часто после школы я заходил к нему домой, и мы подолгу играли вдвоём. Иногда его мама приглашала меня на обед или на чашку чая. Это было несколько непривычно: я знал, что в немецких домах гостей угощать не принято, даже если этот гость — ребёнок. Получив воспитание в русском доме, где принято благодарить за еду, я испытал как-то раз у Виндов нечто подобное шоку, когда мама Петера сказала мне, что «спасибо» в подобных случаях звучит грубо и является признаком принадлежности к низшим классам. На этом наша дружба закончилась. И — скоро он исчез из школы.

Моим богатым другом был Фриц Кемпнер. Жил он где-то в Грюневальде. Бедняга, у него была заячья губа — может быть, данное обстоятельство и сделалось одной из причин моего дружеского к нему расположения. Наше социальное происхождение было настолько различным, что он никогда не приглашал меня к себе домой, хотя сам заходил ко мне раза два — когда я сломал бедро. Со стороны матери Фриц Кемпнер был прямым потомком Мендельсона-Бартольди. С тех пор прошло уже пятьдесят лет, но вот недавно я получил от него письмо. Оказывается, в конце 1935 года он эмигрировал в Англию, оттуда — в Америку, стал квакером, женился на женщине с четырьмя взрослыми детьми. Он придерживается левых политических симпатий и даже пытается каким-то образом влиять на политику Соединённых Штатов в Центральной Америке. Я написал ему в ответ. Вряд ли нам когда-нибудь, ещё в этой жизни, доведётся повидать друг друга.

Среди ребят нееврейского происхождения я был дружен с Вернером Велбером; отец у него был доктор в Шмаргендорфе, неподалёку от Халензее. Мы часто ходили друг к другу в гости. Вернер был великолепным спортсменом, лучшим в школе. После войны мы обменялись парой писем. Он тоже стал врачом и по каким-то причинам эмигрировал в Канаду. Он был одним из так называемых «молчаливых», то есть, проще говоря, пассивных антинацистов. Не могу себе простить, что я, хоть и числил его среди своих друзей, подсознательно проводил его всё по той же категории нелюбимых мною немцев. Это было не только несправедливо, но и глупо, потому что союзники в то время были мне до крайности необходимы, особенно такие, как он. Всё дело в том, что я считал ниже своего достоинства «открывать душу» немцам, оставляя эту привилегию для русских моих друзей. Разум ли, чувства мои распорядились так, что сблизился я только с теми из ребят, кто, во-первых, не был нацистом, а, во-вторых, был мне приятен и ценил

мою «непохожесть», проявлявшуюся в том, что у меня другой язык, другая культура, или в том, что я лучше играю в футбол.

Мартинус Эмге — я снова встретил его несколько лет назад — появился в моём классе, когда мне было 15. Его отец, философ из Гиссенского (?) университета, был другом и, возможно, почитателем моего отца. Отец рассказывал мне, что однажды Эмге-старший пришёл к нему с просьбой поддержать его морально и помочь в разрешении мучившей его дилеммы. Дело было в том, что по слабости духа Эмге вступил в нацистскую партию и даже стал членом S. A. Теперь же, когда порочная и преступная сущность партии стала для него очевидна, он не знал, как ему ото всего этого избавиться. «Herr Professor, bitte geben sie mir einen Rat, wie ich aus diesen moralischen Dilemma herauskomme!» («Г-н профессор, пожалуйста, помогите мне разрешить эту моральную дилемму!») Ситуация была поистине трагикомическая. В то самое время, когда Германия в буквальном смысле слова помешалась на нацистских расовых теориях, член нацистской партии обращается к еврею с просьбой помочь ему в попытке нравственного очищения. Когда я в первый раз встретился с Мартинусом Эмге после войны, в 1989 году, на 50-й годовщине нашего выпуска, у меня не хватило духа рассказать ему эту историю.

Одной из «звёзд» нашего класса был Энрико Гильдемайстер, выходец из весьма влиятельной в Перу семьи немецкого происхождения. Его отец был перуанским послом в Берлине. Нацистский комплекс «если ты немец — ты немец всегда» привёл как-то раз к скандалу в школе. Наш учитель немецкого, типичный наци, пытался, как мог, убедить Энрико в том, что «natürlich bist Du ein deutscher Junge; auch wenn Du in Peru lebst, solltest Du Dich stolz fühlen, ein Deutscher zu sein» («конечно же, ты — немецкий юноша; и, живя в Перу, ты должен гордиться тем, что ты немец»). Энрико попытался было возразить, но его грубо оборвали. Несколько дней спустя мы услышали, что учитель был строго предупреждён за то, что высказывал «правильные» вещи совсем не тем людям. Отец Энрико, должно быть, официально выразил недовольство в министерстве иностранных дел. Сейчас Энрико живёт не то на Минорке, не то на Майорке. В наши школьные годы он использовал свою, так сказать, экстерриториальность для того, чтобы открыто критиковать нацистские методы преподавания, чего обычные ученики, естественно, никак не могли себе позволить. Учителя его опасались, в особенности после инцидента с преподавателем немецкого. Как-то раз он даже пригласил меня в резиденцию посла. В памяти моей мало что сохранилось от того визита, помню только, что я по ошибке слишком сильно ударил в висевший у входа невероятных размеров гонг, так, что горничная и швейцар бегом бросились мне навстречу. В 1936 году вышел какой-то скандал с перуанской олимпийской сборной, и послу, вероятно, пришлось поработать всерьёз — в первый, сдаётся мне, и в последний раз за всё время официальной своей миссии в Берлине.

Вместе с волной «пролетариев» в нашей школе появился и некий Фриц (не то Франц) Видеманн. Вскоре мы выяснили, что он был сыном личного адъютанта Гитлера — во время войны этот человек командовал полком, в котором служил Гитлер. Никто, даже одиознейший наш директор Вальдфогель, ничего не мог с ним поделать. Видеманн вёл себя как король. Учителя до смерти боялись и его самого, и того, что он может пожаловаться на них отцу. Я учился в другом классе, но о Видеманне и о его подвигах знала вся школа. О Гитлере он рассказывал следующее: тот вроде бы не дослужился на войне до офицерского чина потому, что «ihm fehlen Führerqualitäten» («ему недоставало лидерских (фюрерских) качеств»).

Граф Хайнрих (Хайо) фон Айнзидель, мальчик с аристократической внешностью, был на два года младше меня, и знал я о нём скорее понаслышке. Он был праправнуком Отто фон Бисмарка, чью фигуру нацистская пропаганда активно использовала в своих целях, сотворивши из неё своеобразного идола. Фон Айнзиделю, как и Видеманну, в школе было позволено едва ли не всё. Так, однажды, получивши от учителя пощёчину, он пощёчиной же и ответил, что, естественно, было абсолютно неслыханным нарушением всех и всяческих норм. Несколько лет назад мы познакомились с ним на встрече выпускников, а затем и сдружились. Оказалось, что он и был тот самый знаменитый фон Айнзидель, один из инициаторов «Kommittee Freies Deutschland» («Комитета Свободная Германия»), организованного немецкими военнопленными после Сталинградской битвы (он был военным лётчиком, и его сбили в 1943). Естественно,

организация эта очень скоро стала откровенно прокоммунистической, и, насколько я могу судить, роль фон Айнзиделя была в ней весьма противоречивой. Его имя и статус, как и в случае с фон Паулюсом, который командовал под Сталинградом 6-ой немецкой армией, использовались Советами для привлечения немецких военнопленных. И — будучи фон Айнзиделем, он просто не мог быть нацистом.

К нашему «клубу порядочных ребят» (не-нацистов) принадлежал также Хорст Крюгер, сейчас он стал известным в Германии писателем и журналистом. Ханс Шмидт, сын книготорговца, державшего магазин на Катериненштрассе, был моим партнёром по футболу, и играл он, надо сказать, даже лучше меня. Он был убит в первые же дни войны, в Польше. Был ещё некто фон Цан, тоже не любивший нацистов, но ханжа и притвора, всегда готовый согласиться с нацистскими взглядами преподавателей.

Среди, так сказать, «нечистых» — а в большинстве своём они принадлежали к «пролетариям» — я отчётливо помню двух ужасно уродливых близнецов. Причём духовное их уродство ничуть не уступало физическому. Я тогда уже верил в бессмертие душ и никак не мог взять в толк, зачем это Господу понадобилось создавать нечто настолько отвратительное. В форме гитлерюгенда, неизменно обтягивавшей их до странности корявые тела, они казались мне тогда карикатурой на род человеческий. Все порядочные ребята единодушно их игнорировали, но им хватало друг друга, и общественное мнение, судя по всему, нимало их не беспокоило. Один из них рекомендовал мне убираться из Германии подобру-поздорову: «wir brauchen keine Auslaender, weil sie wie die Juden, unser Land zugrunde gerichtet haben» («нам не нужны иностранцы, они всё равно, что евреи, и тоже ограбили нашу страну»).

Поначалу нацистская идеология не слишком-то сказывалась на преподавании основных дисциплин. В первые несколько лет казалось, что традиции немецкой педагогической науки слишком прочно встроены в сознание учителей, чтобы податься под напором новых идей. Но постепенно всё изменилось, и я не мог не испытывать сочувствия к честным преподавателям, вынужденным принимать все эти насквозь фальшивые теории. Они знали сами, что преподают нам вздор, мы это знали (или, по крайней мере, чувствовали), и они знали, что мы знаем. Однако новые преподаватели, пришедшие на смену уволенным по расовым или политическим мотивам, казалось, не знали мук совести. Немецкий язык и история были, естественно, самыми идеологизированными предметами, с упором на биологическое и интеллектуальное превосходство немцев и германской расы в первую очередь над евреями (которых именовали не иначе как семитами, не понимая, что арабы — потенциальные союзники — тоже семиты). При необходимости подчёркивалось также и биологическое превосходство германцев над славянами. Поскольку в моих жилах текла и та, и другая кровь, меня эти нападки касались самым непосредственным образом, но я, помню, даже умудрялся находить в них своеобразное мазохистское удовольствие.

Математика, физика и химия не могли, конечно, быть идеологизированы с таким же успехом. Однако же и здесь роль немецких учёных неизменно подчёркивалась в ущерб не-немцам, вроде Ньютона или Реамюра (хотя, по вполне понятным причинам, к Маркони были благосклонны, так, как будто он был самый настоящий немец). Что уж говорить о немецком или об истории. Та чушь, которую несли наши учителя, доставляла мне порой истинное наслаждение. Я-то знал, как оно всё было на самом деле. Спасибо отцу, он сделал всё возможное, чтобы передать мне то, что знал сам.

Молодые русские в Берлине

Несмотря на внутреннее сопротивление враждебной берлинской среде, Берлин был сильнее, и медленный, неостановимый процесс ассимиляции шёл как бы сам по себе, помимо моей воли. Трое старших детей в большой нашей семье привезли свою Россию с собой; они были воспитаны в традициях русской культуры, которая отчасти выжила и после революции. И как-то само собой разумелось, что они по сей причине могли и хотели (что немаловажно) противостоять тотальной германизации. Мне же к тому моменту, когда нам пришлось покинуть Россию,

исполнилось всего два года, и, следовательно, моё становление целиком проходило в Берлине. Русскость была вокруг меня повсюду, но только не во мне самом. Ни родители, ни сам я не хотели, чтобы немецкая культура поглотила меня целиком. Надо было что-то делать. И потому я с радостью воспринял их решение отправлять меня раз в неделю, по четвергам, в вечернюю русскую школу. Я понимал, что мой русский нуждается в профессиональной коррекции. Стариания Виктора читал и писал я бегло, но грамматика и орфография у меня хромали. В специальную русскую школу папа меня отдавать не хотел — я уже упоминал, что он был германофил, говорил по-немецки с детства (а его мать, моя бабушка Розалия, которая умерла ещё до моего появления на свет, по-немецки говорила лучше, чем по-русски). Мы все, за исключением Алёши, ходили в немецкие школы — не забывайте, кстати, что учиться мы начали задолго до того, как нацисты пришли к власти.

Вечерняя русская школа находилась в здании, расположенном сразу за Русской церковью, на Нахродштрассе, 10, в Шенеберге. Настоятелем там был «белый» монах, отец Иоанн Шаховский, ставший впоследствии архиепископом Сан-Францискским. Он умер буквально несколько лет тому назад. Внешность у него была весьма аристократическая, и он был весьма популярен, особенно среди религиозных дам. Рассказывали, что с одной из прихожанок прямо в церкви случился истерический припадок, и она кричала: «Хочу Христосика от отца Иоанна».

Отцу Иоанну помогал другой монах, отец Эммануил, который регулярно проводил лето вместе с нами, в скаутских лагерях. В том же здании размещалась русская благотворительная организация («сестричество»), где доктор Аксёнов принимал и лечил русских бесплатно.

Несколько раз мне доводилось наблюдать помпезные парады русских нацистов — в коричневой униформе, явно предоставленной местными нацистскими властями. Как правило, процессии эти проходили по Нахродштрассе как раз после воскресной службы, для того, вероятно, чтобы произвести впечатление на прихожан (или напугать их растущим влиянием нацистов в русской колонии). На руках у марширующих были повязки со свастикой, выполненной в цветах старого российского флага — в белом, голубом и красном. Они пели дореволюционные военные песни, перемежая их время от времени обыкновенным своим боевым кличем «бей жидов — спасай Россию». Члены РОИД («Русская Организация Национальных Демократов») — аналогия с *Nazional Sozialistische Duetsche Arbeiter Partei* напрашивается сама собой — были публикой весьма сомнительной. Порядочные люди из русских в большинстве своём их презирали. Странников своих РОИДовцы вербовали по преимуществу среди выходцев из низших слоёв общества, для которых нацизм, обещавший избавить Россию от коммунистов, евреев, масонов и инородцев, был вполне закономерным идеологическим выбором.

Надо сказать, что постепенно сложилась новая категория русских, симпатизировавших нацистам, по соображениям или чисто прагматическим, или же из искреннего сочувствия их идеям. Антисемитизм в его самой грубой и отвратительной форме был и, к сожалению, остаётся одной из движущих сил русского мелкобуржуазного сознания. И до сей поры он являет собой реальную политическую силу как в России, так и в некоторых кругах эмиграции. Тогда, в Берлине, многих русских привлекал в нацизме именно антисемитизм, ибо, согласно некоему достаточно распространённому среди этих людей мнению, Россию у них отняли именно евреи. Нацисты обещали уничтожить коммунизм, и люди им верили, даже и не догадываясь о том, что буквально через несколько лет нацистская политика в отношении русских изменится в корне. Принимая желаемое за действительное, они словно бы и не замечали коренного в нацистской идеологии понятия «недочеловека». Самым искренним и наивным образом многие из них полагали, что в грядущей «освободительной войне» им выпадет честь сыграть весьма немаловажную роль — на стороне Германии. Я, помню, много слышал тогда о некоем Меллер-Закамельском, который в русской колонии в Берлине был кем-то вроде гауляйтера. Его фамилию, естественно, тут же переделали в «Мерин-Закобельский». Много дурного говорили также и о бывшем генерале Безкупском, но я за точность этих сведений поручиться не могу. Помню, что даже весьма достойные люди из Германно-Русского союза всерьёз связывали с нацистами надежды на освобождение России и на то, что Германия наберёт достаточную экономическую мощь, чтобы взяться за эту задачу. Отца, как и всех нас, это, конечно же, шокировало. Один из моих приятелей говорил

мне — несомненно, со слов своих родителей — о необходимости выбора между коммунизмом и нацизмом. Демократия в том виде, в каком она существовала в тридцатые годы, в тогдашних форс-мажорных обстоятельствах была просто-напросто беспомощна. «Поскольку коммунизм для нас неприемлем, мы, хотим мы того или нет, должны поддерживать нацистов — пусть даже мы знаем обо всех их грехах, настоящих или возможных, пусть даже они нам и не нравятся».

В скаутской среде отношение к национал-социализму было негативным. Нацисты разрушили немецкое скаутское движение, с которым мы поддерживали постоянные контакты; возможно, немецкие скауты даже помогали нам деньгами. Была и другая причина: нацисты не любили иностранцев, и, следовательно, любые молодёжные организации, объединявшие иностранцев, мягко говоря, не приветствовались, а позже и запрещались. Насколько я помню, ни открытых, ни даже тайных симпатий к нацизму среди скаутов не существовало.

Одним из вдохновителей РОНД был архиепископ Тихон, хотя никаких официальных должностей в этой организации он и не занимал: своими глазами я видел его, собирающего на улице деньги для немецкой благотворительной организации Winterhilfe («Зимняя помощь»). На нём была ряса и повязка со свастикой на рукаве. Мы прекрасно понимали, что в финансовом отношении он целиком и полностью зависел от Меллер-Закомельского, и сказать наверняка — поддерживал ли он нацистов добровольно или по принуждению — я не возьмусь.

Отец рассказывал нам, что на какой-то лекции он — к обоюдному смущению — оказался рядом с отцом Тихоном. Некоторое время они сидели молча, а потом отец спросил архиепископа, не почитает ли тот зазорным сидеть рядом с человеком, в чьих жилах течёт та же кровь, что у Девы Марии и у апостолов. Тихон смутился пуще прежнего и ответил: «Что вы! Что вы!».

После прихода нацистов к власти, в период, когда церковь возглавил Тихон, недалеко от Фербеллинерплатц был построен русско-православный кафедральный собор. Деньги, вероятнее всего, дал Меллер-Закомельский или же берлинская городская администрация, потому как русская община, даже если бы она не разделилась на сторонников и противников Тихона, суммой, необходимой для постройки такого дорогостоящего здания, просто не располагала. (Хочу напомнить, что церкви по большей части располагались в подвалах.) Строительством было приостановлено, потом здание всё-таки достроили — и мы вдруг с удивлением обнаружили, что нижняя часть собора переоборудована под пивную с незамысловатым названием «Dom-Kneipe» («Под Собором»)!

В 80-х годах, будучи в Берлине, я ходил в собор на воскресную службу. «Dom-Kneipe» исчезла.

Убираться к нам ходила хрупкая и довольно симпатичная молодая русская женщина, совершенно глухая; я никак не могу вспомнить её имени. Кажется, у неё было двое детей, и мама наняла её по большей части для того, чтобы не дать им умереть с голоду. После того как к власти пришли нацисты, она стала жить с одним из убийц русского либерала Набокова (отца писателя), застреленного в Берлине в самом начале массового исхода русских эмигрантов. Обоих убийц немецкий суд приговорил к длительным срокам тюремного заключения, но после 1933 года нацисты выпустили их на свободу. Среди русских, симпатизировавших нацистам, эти двое считались героями, ведь это именно они ликвидировали «предателя белого движения». Я помню статью в нацистской русской газете («За Родину» — так, кажется, она называлась), восторженный панегирик их преданности белому делу.

Единственным моим настоящим другом в детские годы был Олег (Леся) Сампсидис, высокий, приятной наружности светловолосый мальчик. Его родители были в разводе. Отец работал таксистом в русской фирме на Рошерштрассе (Халензее), возглавляемой неким Парамоновым, с сыновьями которого — они были оба чуть старше меня — я был прекрасно знаком. Леся жил с матерью, в квартире на Ландсхутерштрассе. Его мама была поразительно красива — типично русской, суровой и немного трагической красотой. На жизнь она зарабатывала шитьём. Был у неё и «друг» — официант в русском ресторане (одна из немногих профессий, «разрешённых» для русских в Германии) по фамилии Попов, хотя, желая подчеркнуть дворянское своё происхождение, он предпочитал именовать себя «фон Попов». Таким образом, у всех у них были типичные для русских эмигрантов профессии — таксист, швея, официант.

Я часто у него бывал; мы вместе делали уроки, хотя он ходил в специальную русскую школу. Мы были с ним ровесники, мы были знакомы с одними и теми же людьми, у нас были общие друзья и подруги. И первый свой любовный опыт я тоже получил в доме Леси. У них снимала комнату молодая, очень милая женщина. Вероятнее всего, она была проституткой, но я в те времена ни о чём подобном даже и не догадывался. Она-то и ввела нас — каждого в свой черёд — в таинственный мир секса.

После войны я виделся с мамой Леси в Мюнхене. Она была замужем за немцем и как раз собиралась эмигрировать в Америку. У неё был сын, лет восьми-деяти от роду, очень похожий на Лесю, за одним только исключением — аристократические лесины черты каким-то образом сложились здесь в лицо совершенно заурядное.

Среда формировала нас — я имею в виду русских подростков — примерно одним и тем же образом: все мы в той или иной мере не любили немцев. С ними можно было поиграть в футбол, поволочиться за их девушками, но мы никак не могли (или, скорее, просто не хотели) сблизиться с ними всерьёз, «открывать им душу». Причиной, я думаю, был подсознательный, на чисто животном уровне, страх ассимиляции. Мы чувствовали себя аутсайдерами. Мне кажется, что даже тех, кто пытался избавиться от весьма неудобного статуса парии, не принимала та, другая сторона. Я помню несколько моих сверстников, которые всерьёз решили слиться со средой; никто из них в этом не преуспел. Я, со своей стороны, не имел никакого желания менять искусственную эту жизнь в русском гетто — и духовном, и чисто физическом, — а потому проблема ассимиляции никогда всерьёз передо мной и не стояла. Расстаться с моей «непохожестью», которая и сводилась-то в конечном счёте к одной только «русскости», — это было не для меня. И, надо признаться, данное обстоятельство доставляло мне даже удовольствие — вполне мазохистское по характеру.

И всё-таки определённой части детей эмигрантов удалость более или менее ассимилироваться (или, по крайней мере, они изо всех сил пытались это сделать). Прежде всего это были люди, в культурном отношении принадлежавшие к низшим слоям общества, и/или дети от смешанных браков. Положение русского эмигранта требовало от человека огромного количества сознательных и тягостных усилий; у меня и у мне подобных постоянный эмоциональный дискомфорт вошёл в привычку. Те же, кто чувствовал себя «дома», просто переставали нас интересоваться.

Сейчас я понимаю, что неприятие немецкого окружения было ошибкой, продиктованной чисто эмоциональным механизмом самозащиты. Мой детский национализм, идеалистическое обожание всего русского были вызваны отчасти страхом полного слияния со средой. Отец, приветствуя моё желание знать русский язык, историю, литературу, культуру, знать и любить всё это, как любит всякий русский человек, настаивал тем не менее и на необходимости узнать и понять культуру немецкую, которую он всегда ценил весьма высоко.

Несколько лет я был платонически влюблён в девушку, годом или двумя старше меня. Звали её Ника (да, Ника, я так её любил, что и тебя назвал в её честь) Занфтлебен. Заговорить с ней было выше моих сил — знак невинной юношеской страсти, — и глупо краснел, стоило только мне на неё взглянуть; или если она вдруг на меня смотрела, пристально, но безо всякого интереса, ещё бы, ведь я в её глазах был всего лишь маленький глупый Вася. Я уверен, что о моих нежных к ней чувствах она даже и не догадывалась. Виктор называл её «Ника Занфтлебенака» — по аналогии с Никоею Самофракийской. Она тоже принадлежала к скаутской организации, и видеть я её мог только на обычных наших воскресных встречах. (В то время мы назывались «бой-скауты» и «девочки-бой-скауты»).

Старшая сестра Ники Татьяна (Тата) была у девочек-скаутов вожатой и дружила с моим братом Алёшей. Они были ровесники. У Алёши, в свою очередь, был друг, тоже Алёша, по фамилии Френкель, сирота, у которого не было ни дома, ни семьи. В конце концов мама предложила Френкелю жить с Алёшей вместе, в одной комнате, надеясь, что Алёша станет благотворно на него влиять. Вышло, однако, совсем наоборот. Как-то раз, году в 1928-м или в 29-м, наш Алёша, Тата, ещё одна русская девушка и Алёша Френкель отправились на прогулку в Грюневальд, где Френкель застрелил девушку из револьвера и ранил Тату (она и Алёша успели убежать), а после застрелился сам. О мотивах происшедшей трагедии я, естественно, так ничего и не

узнал. Френкель и убитая им девушка были похоронены на русском кладбище; мы все присутствовали на прощальной церемонии.

Владимир Набоков (писавший тогда под псевдонимом Сирин) сделал из этого эпизода целую сцену в своём романе «Дар». Упомянул о нём и Альфред Деблин, в «Берлин-Александр-платц».

Когда я понял в конце концов, что из-за собственной стеснительности никогда не добьюсь у Ники успеха (хотя в том возрасте никто из нас, наверное, не смог бы с уверенностью сказать, что это, собственно, значит, «добиться у девушки успеха»), я решил влюбиться в другую русскую, хотя и совершенно арийской внешности девочку, в блондинку по имени Катя Цейсс. Она ходила в русскую школу на Мотцштрассе и к скаутам никакого отношения не имела. В 1948 году, одиннадцать лет спустя после отъезда из Берлина, я, Катя и Леся встретились в Париже. Больше я ни разу в жизни их не видел. Знаю только, что Леся живёт в Соединённых Штатах.

Скауты

Я абсолютно уверен в том, что не будь в Берлине скаутского движения, нам бы едва ли удалось сохранить всё то, что мы называли «наша русскость». Наше участие в движении не позволило окружающей, весьма враждебно по отношению к нам настроенной среде нас поглотить и поработить. Я-таки не смог выяснить, откуда поступала финансовая поддержка. Насколько мне известно, часть денег давало американское отделение YMCA, по крайней мере на самом старте, в начале двадцатых — они вообще с готовностью оказывали помощь русским эмигрантам в Берлине. Бюджет организации должен был быть весьма солидным, поскольку наш руководитель Владимир Сергеевич Слепян — мы называли его «Слепняк» — регулярно получал зарплату. Насколько мне известно, он нигде больше не работал. Летние и зимние лагеря, плата за помещение, содержание персонала в этих самых лагерях, замена изношенного оборудования, поездки и т.д., — всё это было бы невозможно без солидной финансовой поддержки. Помнится, в середине тридцатых мы получили новые палатки. (Нам сказали, что палатки английские и что они остались со времён Первой мировой; а потому мы с благоговением взирали на заштопанные дыры в брезенте, оставшиеся, не иначе, от немецких пуль).

Не думаю, чтобы за нас платили родители. Плата, скорее всего, была делом сугубо добровольным — кто сколько мог. Благосостояние большинства русских семей оставляло желать лучшего, а потому YMCA (мы говорили — «Имка») то и дело жертвовала значительные суммы. Слепян («Шеф») воевал в Белой армии, офицером. Говорили, что его отец был раввином в С.-Петербурге, а после принял христианство и стал православным священником, хотя ручаться за точность сведений я не могу. Старушка-мать Слепяна была шотландкой, и в доме у него (семья включала самого Слепяна, его жену, Любовь Викторовну, его мать, которая вовсе не знала русского, дочерей Нину и Нелли, а позже и сына, Юрия) говорили по-английски. Нина и Юрий эмигрировали в Англию, Нелли, кажется, в США. По-немецки Владимир Сергеевич изъяснялся с большим трудом. Есть у меня такое подозрение, что неумение это было искусственным и целью имело подчеркнуть статус русского эмигранта. Одна из его реплик даже приобрела в русском Берлине известную популярность. Когда пьяный немец попросил у него огонька, Слепян ответил с неподражаемым — до анекдотичности — русским акцентом: «Aus prinzi piellen Gruenden sprecheich nicht mit ertrunkenen Personen» («Я из принципиальных соображений с пьяными не говорю»)*.

Слепян был добрый человек и прекрасный педагог, всегда готовый прийти на помощь — словом ли, делом. Я был и в самом деле слишком мал, чтобы оценить его по достоинству, но я знаю от старших братьев, что человек он был порядочный и дело своё делал хорошо. Если я не ошибаюсь, он был студентом Русского Научного института и, возможно, в начале двадцатых слушал лекции отца.

Судьба его сложилась печально. По каким-то причинам он не уехал из Берлина в самом конце войны, как это сделало подавляющее большинство оставшихся там русских. И после

*Кроме того, Слепян путает немецкие слова, и вместо *betrunkenen* (пьяные) произносит *ertrunkenen* (утопленники).

взятия Берлина этот наивный человек пришёл к победителям и предложил свою помощь. Они согласились; через пару месяцев он был арестован и отправлен в Советский Союз — в лагерь, куда же ещё. Выйдя на свободу, он поселился на Кавказе, руководил церковным хором, пока не умер, как мне рассказывали, от голода, в буквальном смысле слова. Помню, мы очень его любили; он воплощал для нас всё лучшее, что только было в русском офицере.

Идеология скаутского движения была круто замешана на русском патриотизме, впрочем, без особых «правых» излишеств. И царь, и Родина, и православие существовали в качестве своего рода духовных ориентиров, однако все эти ориентиры — за исключением веры — безвозвратно канули в прошлое. Идеалов этих нас лишили злые большевики, которые по неким совершенно необъяснимым причинам умудрились выиграть войну, хотя они явно были «плохие», а белые были — «хорошие», «наши». Они разорили волшебную нашу Россию, и нам из-за них приходится теперь жить на положении парий в чужой стране, которая совсем нам не рада. Мы верили в это всей душой, потому что хотели верить. Россия казалась некоей сказочной страной, невообразимо далёкой, которая живёт теперь своей несчастливою жизнью без нас и безо всякого нашего участия. Большевики, так сказать, приговорили нас к бессрочному изгнанию, безо всякой надежды вернуться к нормальной человеческой жизни с нашей, пусть состарившейся и доведённой до полной нищеты, но всё-таки любимой «госпожой». Я любил мою Россию от всей души, со всею страстной силой юношеского сердца. Несчастливая эта любовь без всякой надежды на взаимность преследовала меня долгие годы, покуда, так или иначе, я не понял, что больше не нужен «ей», совсем, или, скорее, что в силу роковой своей судьбы «она» вынуждена забыть меня, преданного своего обожателя. Я прекрасно понимал, что доведись мне вернуться в Россию (что в конце концов и случилось), я буду чувствовать себя там иностранцем в гораздо большей степени, чем где бы то ни было на Западе (а я ведь так и чувствую себя здесь — иностранцем). И всё-таки ностальгия, безнадёжная, изматывающая, никак не давала мне покоя. И я никак не мог найти рационального объяснения ни этой боли, ни тому восторженному, возбуждённому чувству, с которым я слушал русские песни, смотрел русские фильмы, читал книги и — особенно — говорил с людьми из России.

Умом я понимал, что все эти песни, все эти фильмы фальшивы насковзь (в самом прямом смысле слова) и сознательно рассчитаны на промывку мозгов, в том числе и таким, как я. И всё-таки я продолжал искать в них своё, истинно русское — и продолжаю до сих пор. Доходившая до нас через третьи руки информация, к примеру, об искусственно инспирированном голоде в России и, особенно, на Украине, служила лишним доказательством порочной сущности советского режима. (Отец, к примеру, настрого запрещал маме покупать дешёвых гусей, которых продолжали экспортировать из России на Запад даже и тогда, когда — и сейчас опубликованы на этот счёт неопровержимые доказательства — десятки миллионов русских и украинцев в буквальном смысле слова умирали от голода.) Россию мне было жалко. Но Россия была далеко, а ребёнок, или даже подросток не в состоянии по-настоящему осознать чужие страдания. («Ешь кашу; в Китае миллионы детей голодают...») Мне было жаль Россию и... самого себя за то, что разлука причиняет нам столько страданий.

Сколько раз мы обсуждали чисто гипотетическую проблему: предположим, японцы (речь почему-то всегда шла только о японцах) начнут войну с большевистской Россией — что нам делать в подобной ситуации? Нам, что, брать винтовки в руки и идти стрелять в простых русских крестьян? Ответа на этот «проклятый вопрос» мы так и не нашли, просто потому, скорее всего, что чувства, вроде чувства любви к «своим», к русским были превыше всех и всяческих резоннов. Стал бы я помогать «японцам» освобождать Россию от большевистского ига, и как бы я смог жить дальше, зная, что мне пришлось ради этого русских же — убивать. Разве могли мы в то время, будучи совсем ещё детьми, и духовно, и эмоционально, решить эту проблему, главную моральную проблему всякой гражданской войны. Не могли мы также знать и того обстоятельства, что буквально через несколько лет ту же самую проблему придётся всерьёз решать миллионам русских эмигрантов в самой Германии и миллионам советских военнопленных (я говорю о власовском движении).

Впрочем — извините мне этот краткий экскурс в будущее.

Скаутское движение в Германии было уничтожено нацистами. По неким совершенно необъяснимым причинам русским скаутам было позволено существовать ещё некоторое время после того, как собственно немецкая организация была разогнана методами самыми жестокими. Я думаю, что о нас просто-напросто забыли, потому как никаких других молодёжных организаций, кроме «Юнгфолька» и «Гитлерюгенда», к этому времени уже не осталось.

Закрыли нас вскоре после того, как мы вернулись из летних лагерей 1937 года. Слепая перерегистрировал нас в качестве спортивного клуба, но это означало, что со скаутской формой придётся расстаться. Это было чем-то вроде духовной кастрации. Ни о каких лагерях, естественно, не могло уже быть и речи. Мы продолжали от случая к случаю встречаться, пели вместе, играли в игры, однако главным нашим занятием стала отныне игра в бейсбол с американскими и японскими студентами на Фербелинерплатц.

Так закончилась история русского скаутского движения в Германии, история, которая сыграла немалую роль в собственном моём становлении.

В двадцатые годы, параллельно с русским скаутским движением, создавалось и русско-еврейское. Поначалу вроде бы обе организации существовали вместе, но потом евреи отделились и создали собственное движение. Насколько я помню, отношения между нами всегда были крайне сердечными. Мы довольно часто встречались, устраивали волейбольные матчи, и я никогда и ни от кого не слышал ни единой антисемитской реплики. Руководителем у них сперва был человек по фамилии Вестерман, потом его сменил Левенталь (Левенберг?), с которым я встречался незадолго до начала войны в Лондоне. По вполне понятным причинам 1933 года эта организация не пережила.

Становление

Патриотический пыл, взлелеянный в скаутских лагерях, со временем отошёл на задний план; он прошёл как-то сам собой после того, как в октябре 1937 года я покинул Берлин и вступил в непростую пору становления. Влияние семьи также постепенно сошло на нет. Даже непререкаемый в прежние годы авторитет отца не смог устоять перед обычной юношеской тягой к «освобождению», к «самостоятельности».

Оказавшись в Англии, я вскорости попал под влияние фабианства с его простым рецептом сделать человечество счастливым через посредство чисто экономических мер, весьма по своей сути несложных, а проще говоря — социалистических. Это влияние, источником которого был круг моего тогдашнего общения, попало на благодатную почву здорового юношеского радикализма, в силу которого всякий думающий юноша и всякая девушка становятся социалистами если и не в прямом смысле слова, то хотя бы попадают в чисто эмоциональную зависимость от социалистических идей. Все до единой проблемы, связанные с финансовым, а, как следствие, и с социальным неравенством вполне разрешимы — вот если бы только старшее поколение позволило нам распутать те узлы, которых оно успело понавязать более чем достаточно.

Мои переживания по поводу русского вопроса и связанной с ним личной моей трагедией отошли на задний план. К тому же я начал подозревать, что все мои мысли и чувства, весь мой прежний опыт восприятия коммунизма, уничтожившего «мою», «истинную» Россию, могут оказаться ошибочными, искажёнными тем самым старшим поколением (включая сюда и отца), которому я понемногу учился не доверять. Может, это и впрямь было следствием обычного юношеского стремления к бунту. А может быть — реакцией на ту резкую враждебность, которую питали к социализму ненавистные мне нацисты. Если они — наци — были против коммунистов, значит, в коммунизме не могло не быть чего-то по сути своей позитивного. Вот на этих шатких основаниях и строилось моё тогдашнее наивное виденье мира. (Разве мог я тогда предположить, что некоторое время спустя нацисты наипрекраснейшим образом договорятся с коммунистами и поделят между собой Восточную Европу, дав тем самым начало Второй мировой войне?)

Кроме того, без привычной поддержки отца и Виктора, интеллектуальной и чисто эмоциональной, было всё-таки трудновато. Во многом выручала дружба Поля Скорера (будущего

мужа Наташи, он погибнет в 1943). Не думаю, чтобы он был в восторге от моих социалистических симпатий, но в голове моей — как и в душе — царил хаос, и, побарахтавшись для виду, я подался-таки влево. Гражданская война в Испании и то обстоятельство, что нацисты приняли в ней участие на стороне Франко, сыграли в моём политическом становлении отнюдь не последнюю роль. Я прекрасно знал, что отец симпатизирует Франко (основываясь на опыте Гражданской войны в России), но у меня были теперь свои резоны и мнения, я был за республиканцев и даже вынашивал некоторое время весьма романтическую идею — вступить в интербригады, чтобы воевать с ненавистными наци. Порыв сей как нельзя лучше характеризует господствовавшую в тот предвоенный период в Англии политическую и духовную атмосферу. Как и многие другие, я убедил себя в том, что английские консерваторы суть потенциальные союзники нацистов! В своё оправдание хочу сказать, что «социалистический» мой период длился недолго, хотя нападение немцев на Советский Союз и ввергло меня в очередной душевный кризис. И впрямь, как я должен был реагировать, если на мою любимую Россию, где властвовали при этом проклятые большевики, напали ещё более отвратительные мне нацисты?

Но вернёмся в Берлин: я помню папины слова о том, что Гражданская война в Испании есть в определённом смысле повторение русской Гражданской войны, только в меньшем масштабе. Отец был на стороне Франко, но когда в войну вступили нацисты, он изменил свою точку зрения. Отныне он был «нейтрал» и не считал, что из двух этих зол вообще возможно выбрать лучшее.

Отец смотрел на развитие политической ситуации в 30-х крайне пессимистично. Он не делал особой разницы между Сталиным и Гитлером, хотя и расценивал русскую революцию как событие куда более фундаментальное и исторически значимое, чем нацистскую революцию в Германии. В России практически единомоментно был разрушен весь государственно-политический уклад, со всеми вытекающими отсюда катастрофическими социальными и экономическими последствиями, в то время как в Германии — по крайней мере внешне — жизнь изменилась мало. Русская революция в той или иной степени коснулась каждого из жителей страны, утопический эксперимент по созданию нового, не верящего в Бога человека и по освобождению его от «несуществующего» первородного греха никого не оставил в покое; в Германии же нацисты репрессировали (а позже просто уничтожили) «только» некоторые группы населения. Я разрешу себе несколько вольное обобщение: папа считал, что нацизм не был изначально направлен против немецкого народа, в то время как первыми жертвами большевиков пали именно русский и другие народы, населявшие Советский Союз. Коммунизм был навязан России, этому подопытному кролику истории, куда более жестоким и кровавым путём, нежели нацизм — Германии, где общая социальная ситуация осталась в целом неизменной. (Мне вспоминается в этой связи один популярный на эту тему анекдот: когда одной старушке стали объяснять, что коммунизм — это гигантский эксперимент, старушка ответила: «но ведь они должны были сперва попробовать на собаках».)

После того, как в 1939 году началась война, и особенно после нападения Германии на Советский Союз, отец проникся уверенностью в том, что Германия непременно потерпит поражение. Однако Сталин и Гитлер были для него всего лишь разными воплощениями одного и того же зла, и, если речь заходила об этих двух фигурах, обычная его реплика была: «в один мешок».

Если говорить о мистических — и пессимистических по большей части — взглядах отца на историю, в особенности после массовых убийств, в которых были повинны как большевики, так и нацисты, а затем и после изобретения ядерного оружия, то он пришёл постепенно к выводу, что Бог «устал» от своего творения. Бог вполне мог прийти к выводу, что эксперимент по созданию человека, существа, наделённого возможностью сознательного выбора между добром и злом, закончился неудачей. Человек оказался склонен употреблять полученную свыше свободу во зло. Даже заклятие Сына Божьего, Иисуса Христа, человека ничему не научило. А жаль, потому что эксперимент вполне небезыntenересный. Бог — согласно папиному мнению — мог счесть, что человек вполне в состоянии сам покончить счёты с жизнью при помощи той самой интеллектуальной мощи, которой Бог его наделил и которой человек привык злоупотреблять от всей души. Человек отрёкся от свободы, сделав выбор в пользу зла, а потому оказался недостоин начатого эксперимента.

Будни

Финансовое положение нашей семьи было весьма неблагоприятным. Я мало что об этом знал: дети, как правило, не интересуются или не хотят интересоваться житейскими проблемами. В первые годы нашего пребывания в Берлине отец имел стабильный, хотя, возможно, и не очень значительный доход. Но мы жили неплохо и даже держали служанку. С приходом к власти Гитлера отец потерял место в университете, и наша жизнь сделалась труднее. Я помню, что отец постоянно ездил с курсами лекций в Балтийские республики, в Чехословакию, Югославию, Голландию и Францию — с единственной целью хоть как-то пополнить наш скудный бюджет. Он много публиковался в немецких, голландских и в эмигрантских русских журналах; он продолжал работать в берлинском Русском институте до самого закрытия института нацистами. Когда с деньгами стало совсем плохо, мама вспомнила о полученных в студенческие годы навыках массажа. Она уходила раньше, чем я открывал по утрам глаза, а потом обыкновенно возвращалась, чтобы приготовить завтрак отцу, который был абсолютно беспомощен в такого рода житейских делах.

Насколько я сейчас понимаю, среди маминых клиенток должны были быть и «roules de luxe» (дорогие шлюхи). Однажды я слышал, как мама с негодованием рассказывала об одной из них, любовнице пользовавшегося в те годы дурной славой генерала Мильха. Мильх, вероятно, был еврей, и о нём ходила в Берлине шутка в духе «чёрного юмора». Геринг, защищая своего подопечного, будто бы сказал однажды: «In meinem Ministerium bestimme ich wer Jude ist und wer nicht» («В моём министерстве я определяю — кто еврей, а кто нет»).

Виктор, окончивши курсы русской истории в Берлинском и Пражском университетах, работал теперь в конторе «Hauptgemeinschaft der auslaendischen Studierendeu» (организации, которая занималась проблемами обитавших в Берлине иностранных студентов). Наташа устроилась секретарём в русской эмигрантской коммерческой фирме, торговавшей, насколько мне известно, с Советским Союзом. Таким образом, оба они вносили в семейный бюджет свою долю. Если я ничего не путаю, Наташа оплачивала счета за квартиру.

Когда мы жили на Нойе-Кантштрассе, я в свои 9 — 11 лет зарабатывал на карманные расходы, подавая мячи в местном теннисном клубе. За час беготни мне платили 50 пфеннигов, случались иногда и чаевые. На 50 пфеннигов в то время можно было купить 10 маленьких порций мороженого или 5 пирожных.

В 15 лет я стал зарабатывать куда приличней. Два раза в неделю я шёл на семейное предприятие Редлих, закупал у Редлихов небольшие партии творога и сметаны, ставил продукты в специально приспособленный для этого рюкзак и развозил по друзьям и знакомым, взымая с них за удобство скромную надбавку. Сдаётся мне, что кое-кому из хороших наших знакомых мой товар был не слишком-то и нужен, но у меня покупали. Одним из моих постоянных клиентов был Владимир Набоков, живший на той же Несторштрассе, что и мы, мы в доме под номером 11, он — 21. Довольно часто Набоков или его жена говорили мне: «Васенька, мы тебе заплатим на следующей неделе». Они и до сих пор остались мне должны за несколько порций творога и сметаны! У Набокова была весьма характерная аристократическая картавинка. Я прекрасно его помню — невероятно изысканный, хотя и бедно одетый человек. Помню я и его жену, русскую еврейку (урождённую Вишняк), и их сына Дмитрия, родившегося в 1936, которого я иногда вывозил на прогулку в коляске.

Если мне не изменяет память, Набоковы тогда жили бедно, и им помогала ещё одна русско-еврейская семья, Татариновы, с которыми мои родители также были знакомы.

Купля-продажа была для меня делом абсолютно неизвестным, и в начале своей деловой карьеры я был кем-то вроде любителя-энтузиаста. Так, к примеру, у меня почти всегда оставались нереализованные продукты, которые я отдавал маме безо всякой наценки, а то и вовсе даром. Душа моя была чужда коммерции, и данное обстоятельство мешало мне делать деньги на близких людях.

Как-то раз одна из моих покупательниц, г-жа Тумаркина, рассказала маме, как в ответ на её вопрос о том, что я буду делать с заработанными деньгами, я ответил, что куплю маме необходимый ей в те годы корсет. Мама, должно быть, сочла меня по-настоящему любящим сыном. На

самом же деле я купил себе на Александерплатц прекрасный, хотя и подержанный велосипед, скорее всего краденый, шикарные коньки, брюки-гольф, ещё несколько вещей из разряда тех, что кажутся подростку жизненно необходимыми — и несколько раз водил барышень в кино, а потом в кафе-мороженое, к Кирххайму. Должно быть, по тем временам деньги я делал немалые.

В семье, между тем, с деньгами было совсем плохо. Время от времени, тайком от родителей, нам звонили друзья и просили приехать, забрать пакеты с едой: Копельманы, М. М. Гуревич, Данишевские. С Данишевскими родители познакомились ещё в Саратове, в первые послереволюционные годы. У них тогда была фабрика по производству мыла, и, приехав в Берлин, они открыли точно такую же (на Иоахим-Фридрихштрассе, в Халензее, на той самой улице, где мы жили в конце двадцатых). Однажды Фаня Борисовна, добродушная, с неизменной улыбкой на полном лице дама, говорившая с сильным еврейским акцентом — это был, скорее, даже не русский язык, а некий еврейско-русский диалект — попросила меня приехать. Я приехал — и она вручила мне огромную кастрюлю, полную бульона с плавающей в нём курицей. Обращаюсь к желающим повторить мой подвиг — возьмите большую кастрюлю, налейте в неё воды и проvezите на велосипеде 2 — 3 километра, не расплескавши ни капли!

Копельманы — Максим Соломонович и Серафима Абрамовна — были ближайшими друзьями родителей за все наши берлинские годы. У них было трое детей — Надежда, Александр (Алик) и младший, Соломон (Моня), который был всего на несколько лет старше меня. В этот дом я всегда шёл с радостью. В начале тридцатых они жили на той же улице, что и мы, на Гектор-штрассе, в Халензее, и мы виделись довольно часто. Сколько раз мама посылала меня к Серафиме Абрамовне то за чашкой муки, то за яйцом, то за луком.

Между этой семьёй и моими родителями отношения были довольно странные. Они были, если мне позволено будет так выразиться, влюблены в отца, и в то же время интеллектуальная и нравственная его мощь, проявлявшаяся как бы сама собой, абсолютно естественно и безо всякого, даже наималейшего усилия с его стороны, вызывала в них что-то вроде священного ужаса. Симочка (так у нас именовали Серафиму Абрамовну) была маминной ближайшей подругой. Я знаю, что в самые тяжёлые времена Копельманы неизменно нам помогали. Они всегда были готовы поверить папе в долг, долги, надо сказать, возвращались при первой же возможности. Под впечатлением от идеальной этой дружбы, длившейся на всём протяжении берлинского моего детства, я и вырос в счастливом заблуждении, что такая забота друг о друге, такая любовь и такое внимание являются нормой человеческих отношений. Позже мне пришлось осознать всю уникальность этой дружбы, признать наивность юношеских моих заблуждений и свыкнуться с мыслью, что требовать того же от других людей не стоит. И всё-таки моё обычное нежелание (или неумение) ссориться с людьми, почти трусливое по сути своё стремление всеми силами избегать конфликта, возможно, до определённой степени обязано своим происхождением уникальному этому юношескому опыту.

Копельманы оказались достаточно предусмотрительны, чтобы уехать из Германии в Палестину в середине тридцатых. Алик, который совершенно ассимилировался и был, ко всему, квалифицированным специалистом-инженером, остался. Каким-то образом он оказался связан с подпольной коммунистической организацией; его арестовали, приговорили к тюремному заключению — в тюрьме он, должно быть, и погиб. Сразу после войны я оказался в Австрии и некоторое время переписывался оттуда с Серафимой Абрамовной. Она всё надеялась, что немецкая бюрократическая машина, которая, с её точки зрения, никуда не делась и при нацистах, могла помочь её сыну спастись. Если уж человек угодил в тюрьму — так она считала — его уже не могли отправить оттуда на ликвидацию в концлагерь. Она просила меня хоть что-нибудь разузнать о его судьбе. Я сделал всё, что было в моих силах, если учесть царивший тогда в Германии хаос, обращался в Красный крест, в другие благотворительные организации, но так ничего, естественно, и не узнал. Позже Моня прислал мне книгу о нём и о его судьбе, на иврите и на немецком.

Невдалеке от нас, на Вестфелишештрассе, жила и Мария Моисеевна Гуревич. Она была целительница, в истинном смысле этого слова, и обладала способностью — почти мистической — отслеживать боль. Она всегда знала наверное, что у человека болит и какого эта боль рода. Затем она принималась массировать больное место и — буквально — стряхивала боль прочь

с кончиков пальцев. Лечилась у неё только мама, потому как отец в силу своих каких-то резонансов ходит к ней отказываясь; впрочем, позже, когда он стал страдать бессонницей, вылечила его именно она. Помогла она и мне. Когда после восьмидневной пытки у меня сняли, наконец, с ноги гипс, то от долгой неподвижности пришлось боlette колено. Она принесла мне почти моментальное облегчение, помассировав тыльную сторону колена и «стрягнувши» боль прочь.

Мария Моисеевна была из тех добрых и отзывчивых евреев, которых отец считал потомками сподвижников Христа. Возьму на себя смелость утверждать, что отец и сам был из той же породы — добрый, отзывчивый, мягкий, совершенно неспособный сердиться («Танюша, — говорил он, — пожалуйста, посердись на детей»), но знающий при этом свою святую правду. Такие люди, как Григорий Адольфович Ландау, Айхенвальд и, конечно же, Пастернак принадлежат к той же самой категории людей («ласковые» — вот, мне кажется, подходящее русское слово), избранных Богом. Исходя из личного моего опыта, таких людей в силу неких совершенно необъяснимых причин больше всего среди евреев. Не думаю, чтобы это было простым совпадением. Как бы то ни было:

«Однако, странен выбор Бога — Жида призвать себе в подмогу» (Хилари Беллок).

К несчастью, есть и совсем другого рода евреи; мы в те времена с ними почти не знали. Таинственный народ...

У М. М. Гуревич были два взрослых сына, оба врачи, как и последний её муж. У одного из них я лечился в Лондоне, ещё до войны. Её муж, как мне рассказывали, покончил с собой ещё в самом начале века: он просто шёл и шёл себе в море по дну от берега, пока не утонул. Какое самообладание! Мария Моисеевна была искренним и преданным другом нашей семьи. Из переписки отца со швейцарским психиатром доктором Людвигом Бинсвангером я выяснил, что она сносилась с ним ещё в середине тридцатых по поводу нашего тяжёлого материального положения — просила совета. Он ответил, что всегда готов пригласить отца пожить у него, сколько угодно долго, каковым предложением отец и воспользовался, когда пришла пора покинуть Германию. В конце 1937 года он уехал из Берлина к Бинсвангеру, в Кройцлунген, а чуть позже, в самом начале 1938-го, присоединился к маме и Наташе уже в Париже. Пока его не было, мама с Наташей отказались от квартиры, продали всю мебель и уехали, имея в кармане по 10 марок каждая, — всё, что нацисты разрешали взять с собой. На этом берлинский период в истории нашей семьи в основном закончился. В Германии остался один только Виктор.

В 20-е годы на Прагерштрассе открылся русско-еврейский молодёжный клуб. Я часто заходил туда после уроков русского языка. Меня привлекала возможность поиграть в настольный теннис. Один из мальчиков, постоянно игравший там в пинг-понг, был действительно классным игроком. Благодаря ему и я стал играть много лучше и даже выиграл несколько соревнований среди русских мальчиков. Содержала клуб госпожа Богрова, мать убийцы Столыпина. Когда мы пели русские песни, она аккомпанировала нам на рояле. Помню, на отца произвёл неизгладимое впечатление сам факт: мать человека, который, может быть, изменил историческую судьбу России и, в силу некоей нелинейной логики, оказался ответственен и за нашу эмиграцию, пела с нами песни, подавала чай и нежнейшим образом заботилась о собиравшихся в клубе детях. Этакая шутка истории!

Клуб организовал — или просто давал деньги на его содержание — Яков Львович Тейтель (он так и назывался, «Тейтелевский клуб»), который, по иронии судьбы, знал маму ещё в девические годы, в Саратове. К моменту нашей с ним встречи это был очень худой, небольшого роста пожилой человек, проявлявший чрезвычайную активность в деле эмигрантской благотворительности. Весьма вероятно, что именно через него получали финансовую поддержку и скаутские организации. При встрече он имел обыкновение трепать меня по затылку и неизменно просил передать маме уверения в самых искренних его к ней чувствах — «она была такая красивая девочка». Встретив однажды Наташу, он принял её за маму.

Тейтелевский клуб всегда был открыт для евреев, не-евреев и вообще для любого, кому пришло бы в голову зайти, поиграть в пинг-понг и выпить чашку чая с кексом. Клуб разделил судьбу русско-еврейской скаутской организации. Как только нацисты пришли к власти, они его тут же закрыли.

У нас дома

Оглядываясь вспять и сравнивая наш дом с другими русскими домами в Берлине, я могу с уверенностью сказать, что он не был типичен — в смысле гостеприимства. Отчасти это можно объяснить маминной зачастую излишней заботой о папе и о том, чтобы у него было время отдохнуть. К нам заходили, как правило, вечером, на чашку знаменитого «русского чая», который неизменно подаётся в сопровождении чего-нибудь сладкого. Иногда случался гость и к воскресному обеду.

Кто из русских был вхож в наш дом? Одним из самых частых гостей был Осип Евсеевич Бужанский, студенческий друг отца. Они вместе изучали политэкономия, пока отец не понял, что его призвание — философия. Бужанский был весельчак и душа компании, он всегда являлся к нам буквально с ворохом новых шуток и анекдотов, порой весьма рискованного свойства. Отец хохотал во всё горло, и хохот у него неизбежно (как и у меня потом) переходил в кашель. Мама делала вид, что шокирована, хотя иногда (если понимала «соль» анекдота, что с ней случалось не часто) тоже не могла удержаться от смеха. Меня в подобных случаях неизменно отправляли на кухню за стаканом очень холодной воды для мамы (сие означало, что нужно долго стоять у крана и ждать, пока вода не сделается нужной температуры), и я всегда пропускал ключевую фразу, которой и без того, вероятно, не понял бы. Но — я же всё равно подслушивал. И не переставал удивляться, отчего это взрослые смеются над тем, что для меня, ребёнка, вовсе не кажется смешным.

Из сказанного мною об отце может сложиться впечатление, что это был человек весьма серьёзный и не склонный шутить, как то и «приличествует» философу. Отец действительно был натурой глубокой и в житейских делах бывал зачастую беспомощен. И в то же самое время он умел — и имел обыкновение — становиться на удивление добрым и заботливым, ценил хорошую шутку, да и сам, под настроение, шутил иногда весьма удачно. Так однажды он рассказал мне историю о старом русском генерале пушкинских времён, который, будучи поставлен в известность, что у него расстёгнута ширинка, отвечал: «Я привык жить в соответствии со старым русским обычаем — в доме покойного все двери надлежит держать распахнутыми настежь». Он просто обожал анекдоты о рассеянных профессорах (может быть, именно потому, что в каком-то смысле сам был из той же породы), особенно же ему нравилась следующая: рассеянный профессор приглашён на приём. Он входит в дом, видит своё отражение в большом напольном зеркале, бормочет: «Ах, так я уже, выходит, здесь», — разворачивается и отбывает восвояси.

Отдавал он должное и политическим анекдотам, по той простой причине, что они выставляли на всеобщее обозрение нелепости политических систем, в особенности тоталитарных. Но в шутках на русские темы неизменно присутствовала нотка печали. Он терпеть не мог вульгарных шуток, и вообще вульгарности в любых её видах, в чём бы она ни проявлялась, в анекдоте ли, в человеке. В числе характернейших его качеств юмор не значился, однако же он пользовался им на манер некоего средства внутренней гигиены и умел получать от него удовольствие.

Вернёмся, однако, к частым визитам Бужанского. Помимо веселья они означали серьёзные политические дискуссии, в основном касательные до России, до несчастливой её судьбы и мрачного будущего. Иногда отец приглашал его в кабинет (который, кстати, служил ему и маме ещё и спальней), и вот тогда разговор затягивался надолго.

Я не имею ни малейшего понятия, чем Осип Евсеевич зарабатывал себе на жизнь. Отец говаривал в шутку, что всякий уважающий себя еврей должен иметь контору — и у Бужанского вроде как была контора. Несколько раз мы ходили к Бужанским на Рождество; выяснилось, что они с женой, чьего имени-отчества я совершенно не помню, жили много лучше нашего. У них были дочь и внучка, маленькая толстушка примерно моего возраста, которая мне не нравилась, а потому играл я с ней безо всякой охоты. Впоследствии они выехали в Париж и по каким-то причинам задержались там даже и после немецкой оккупации. От родителей я слышал, что Бужанский покончил жизнь самоубийством. Причиной, насколько я помню, было то обстоятель-

ство, что он добровольно зарегистрировался как еврей и привлёк таким образом внимание ко всей своей семье. Жена, дочь и внучка ему этого не простили и превратили его жизнь в сущий ад, отчего он и выбросился из окна.

Рассказывая мне о его трагической смерти, отец, помнится, особый упор сделал на том, что сам по себе факт регистрации был весьма характерен для человека, воспитанного в традициях русской интеллигентности. Согласно неким неписанным, но подлежащим тем не менее строгому соблюдению правилам, сказать неправду было попросту невозможно, к каким бы печальным последствиям это ни вело. Мне было искренне жаль Осипа Евсевича. Он заслуживал лучшей смерти.

По воскресеньям, после обедни, к нам часто заходил о. Григорий Прохоров, священник из церкви, в которую ходили родители, Наташа и (время от времени) я. Его всегда ждала у нас чашка горячего кофе, ибо ему не положено было есть до окончания воскресной службы. После обеда мы садились с ним обыкновенно играть в шахматы. Помню, как, обдумывая очередной ход, он имел обыкновение поглаживать длинную свою седую бороду и, поглядывая на меня лучистыми добрыми глазами, бормотать «добже, добже», каковое слово представлялось мне зловещей некой угрозой, вроде «Вот я тебе сейчас задам». Он представлял собой тип русского крестьянина, невообразимо добрый человек. Его семья осталась в России и он был совсем один. Позже, на кладбище в Тегеле, я поклонился его могиле и молча помолился за него.

Частыми нашими гостями были Григорий Адольфович Ландау и его жена, тихая робкая женщина. Они жили в ужасных условиях, в меблированных комнатах где-то в районе Фазанен-платц. Я был тогда ребёнком, потом подростком, но даже я не мог не оценить его эрудиции, культуры и мягкой, но вполне очевидной авторитетности всего, о чём бы он ни говорил. Он казался человеком очень мудрым и в то же время скромным. Из Берлина они уехали в одну из Балтийских стран, где, должно быть, и погибли. Если Советы не успели «ликвидировать» их во время оккупации Балтии, это наверняка сделали немцы.

Владимир Митрофанович Феодоровский, бывший белый офицер и студент отца в берлинском Русском Научном институте, часто заходил к нам на обед или на чашку чая. Он работал водителем такси. После войны он стал священником и, по просьбе моей матери, хоронил моих братьев. В Берлине он ухаживал за некой дамой по имени Сара Генриховна Слезберг, страдавшей тяжёлой формой астмы. Её отец был когда-то известным адвокатом в С.-Петербурге. В 30-х годах она приняла православие, Феодоровский женился на ней и увез её в Париж, где ему удалось спрятать её от нацистов.

Ариадна Петровна Дамантиди, красивая и жизнерадостная женщина (она-то в своё время и поставила «Садко»), приходила к нам довольно часто, чтобы «восхищаться» отцом. Из тех, кто бывал у нас, она, кажется, нравилась мне больше всех. Теперь, когда я познакомился с Грецией, я понимаю, что её темперамент, её жизнерадостность (и её глубокий сильный голос тоже) были типично греческими, хоть она и обрусела совершенно. В 1932-м, когда из чисто денежных соображений мы были вынуждены провести всё лето в городе, она взяла меня с собой в домик, который она снимала на лето в деревне, и я провёл там восхитительно долгий месяц.

Заходил к нам Игорь Корнеевич Смолич, автор немецкой монографии о русских святых. Он был человек весьма застенчивый и сильно заикался. Профессор Боголепов приходил обыкновенно вместе с женой и дочерью Алёнушкой, которой я, по-моему, нравился. Профессор Овчинников, папин коллега, напротив, появлялся у нас довольно редко, и я не слишком-то хорошо его помню. Но пасынок его, Сергей Субботин, был героем в глазах молодых русских берлинцев. Он был чуть старше Виктора и Алёши — талантливый актёр-любитель, игравший основные роли в большинстве русских спектаклей, ставившихся в те годы в Берлине.

Помню ещё семью Гефдингов, главой которой был красивый, немного старомодной наружности мужчина, датчанин по происхождению, но также совершенно обрусевший. Он был преуспевающий экономист, ученик Петра Бернардовича Струве (дяди Пети — см. ниже).

Яков Наумович Блох и его жена Елена (отчество забыл) владели в Берлине русской издательской фирмой «Петрополис». Его сестра Раиса и Михаил Горлин, её муж, были поэтами и дружили с Виктором. Во время немецкой оккупации Раиса и её ребёнок уехали из Франции в

Швейцарию, но швейцарские власти выслали их назад, на верную смерть. Позже мы узнали наверно, что Миша погиб. В последние месяцы перед моим отъездом в Лондон жена Блоха занималась со мной английским.

Захаживал к нам иногда и человек по имени Герман Ахиллович Каменко (восхитительные имя и отчество для еврея!) — или фамилия была Каменка? — с густо волосатой и вечно хихикающей женой-армянкой. Ещё один нечастый гость — редактор русской газеты «Руть» Гессен.

Елизавета Александровна Штутцер и её незамужняя сестра Каролина (Линочка) Ферайн были очень дружны с мамой. Их отцом был тот самый Ферайн, миллионер и владелец целой сети московских аптек. После революции они бежали в Берлин, где и зарабатывали на жизнь, обшивая богатых русско-еврейских дам. Чем ещё могли заняться богатые когда-то девушки, разорившиеся дотла и попавшие в чужую страну, на языке которой они с трудом изъяснялись? В прежние времена они сами держали поваров и служанок, и к той трагической ситуации, в которой им отныне приходилось жить, оказались совершенно не готовы, ни морально, ни материально. По счастью, они вспомнили, что умеют шить.

Одним из самых трагических моментов в жизни русской эмиграции в Германии была неспособность подавляющего большинства эмигрантов зарабатывать себе на жизнь так, как они привыкли это делать дома. Подавляющее большинство «порядочных» профессий, за исключением врачебной и, может быть, ещё нескольких, связанных с разного рода коммерцией, были для них невозможны в силу немецких законов. Потому-то многие, если не большинство, устраивались водителями такси, официантами в русских ресторанах, простыми рабочими, горничными и т.д. К тому же множеству женщин пришлось не только заняться совершенно непривычным для них прежде домашним хозяйством, но и мириться с совершенно иным, неизмеримо более низким уровнем жизни.

Сёстрам удалось-таки доказать своё немецкое происхождение и получить таким образом гражданство. У Елизаветы Александровны была дочь Ольга, которая вышла замуж за немца по фамилии Квак (которого я, естественно, назвал как-то раз по ошибке «Фрош» (*нем.* — лягушка)), совершенно ассимилировалась и даже умудрилась развить в себе выраженные нацистские симпатии. Судьба семьи Ферайн-Штутцер была вполне типична для тех немцев, которые успели в «прежней жизни» совершенно обрусеть. Большинство из них ощущали себя, да и были в действительности русскими, их деды и прадеды уже были православными: они были русскими в России и оставались ими в Германии. Я помню, что отец встретил как-то на улице няню-немку, которая служила когда-то у его сестры Софьи в Санкт-Петербурге. Отец спросил её, как ей живётся в Германии, и получил в ответ: «Ach, wissen Sie, es waere nicht schlecht, wenn es hier nicht so viele dieser Nemzis gaebe» («Ах, знаете, всё бы ничего, если бы тут только не было такого количества этих самых немцев»).

Писатель Оцуп со своей семьёй иногда бывал у нас. В нашем кругу был и знаменитый тогда (но не для меня) Максим Романович Фасмер. Его семья жила рядом с нами, неподалёку от Фербеллинерплац, места, где находился мой футбольный клуб. Они часто навещали нас, а я часто, но неохотно сопровождал своих родителей во время визита к ним. Детей в этой семье не было, и в ходу была шутка о моём усыновлении, что меня ужасно пугало.

Фасмер был высоким, неуклюжим человеком. Когда он пытался обнять и поцеловать меня, сразу было понятно, что у него не было никакого опыта общения с детьми. Его жена была не менее эмоциональна; её нежность навела меня на мысль, что всё-таки существовала тайная договорённость о моём усыновлении. Вот почему до определённого возраста я боялся этих людей; позже я понял, что это была только шутка.

В конце 20-х мы подружились с новыми для нас людьми. Василий Леонтьев, его жена и сын Василий («Василёк») были невозвращенцами, т. е. советскими гражданами, которые не вернулись из зарубежной поездки и остались в Берлине. Не знаю, чем они занимались, но жили они в достатке. Неподалёку от Байришерплатц, в роскошном богатом районе, у них была квартира. Перед отъездом в США они подарили мне великолепное издание гомеровской «Одиссеи» в переводе Жуковского. Я всё ещё храню эту книгу. Книга превосходно иллюстрирована. Виктор

читал мне её в детстве. Так состоялось моё первое знакомство с восхитительным и таинственным миром греческой мифологии.

Помимо «берлинских русских» к нам приходили и оставались ночевать те, кто приезжал в Берлин из Франции, Чехословакии, Югославии или из Балтийских государств. Я прекрасно помню Николая Александровича Бердяева, который был изгнан из России одновременно с нами и жил в Париже. Когда я был маленьким, его визиты откровенно меня пугали. У него был нервный тик: время от времени он открывал рот, высовывал язык, а рука его, подрагивая, поднималась сама собой к затылку, одним и тем же абсолютно бессмысленным жестом, так, как будто у него вдруг зачесалась голова. Случалось это достаточно часто, особенно в моменты умственного напряжения. Маму очень смущала моя манера смотреть на него в такие моменты, вытаращив от ужаса глаза, и она обыкновенно уводила меня из комнаты. Хотя, я думаю, он к подобной реакции, в особенности детской, давно уже должен был привыкнуть. И только строгое воспитание и, в особенности, страх, что вот сейчас на мне остановится ледяной мамин взгляд, удерживали меня от того, чтобы расплакаться. (Отец, кстати, считал Бердяева одарённым популяризатором чужих идей, но ни в коем случае не мыслителем, хоть сколь-нибудь глубоким и самостоятельным.) После войны они встречались уже в Париже, говорили о ситуации в Советском Союзе. Под впечатлением от победы над нацистской Германией Бердяев стал «советским патриотом» и утверждал, что в результате военной победы и перенесённых страданий природа русского коммунизма изменилась и он стал куда более «русским», нежели «коммунистическим». Отец же твёрдо верил, что Сталин как был, так и остался воплощением зла. Авторитет Бердяева был огромен, и советские власти использовали его позицию в качестве инструмента воздействия на определённую часть эмигрантов, убеждая их вернуться в Советский Союз, — и потому отец считал, что дальнейшая судьба этих людей отчасти лежит на его совести.

Иногда приходил к нам некто князь Оболенский. Он жил в Дрездене, где, кажется, работал на фабрике по производству русский сладостей. Он всегда приносил с собой упаковки тянучек и клюкву с толстым слоем сахара. Я любил и до сих пор люблю их — может быть, только потому, что они напоминали мне о недостижимой, но всё ещё глубоко любимой России.

Несколько раз приходил Василий Васильевич (позже о. Василий) Зеньковский. Я снова увидел его в Париже прямо перед войной. Весьма странно, что жил он в одном доме с дядей Лёвой.

Периодически приезжал к нам из Эстонии философ Василий Эмильевич Сеземанн, статный, загорелый, спортивный мужчина. Они с папой на долгие часы закрывались в кабинете. Я помню Алексея и Дмитрия Сеземаннов (его пасынков). Мы с Дмитрием были ровесники. Их мать, как стало известно, была советским агентом в Париже. Последний раз я видел Дмитрия, когда он направлялся из Парижа в Москву. Они остановились в Берлине и переночевали у нас. Я испытывал к нему сложное чувство зависти. Тайно и вопреки собственным убеждениям, я завидовал тому, что он возвращается в Москву, а я остаюсь во враждебной Германии... (Дмитрию разрешили вернуться во Францию в середине 70-х.)

Лев Платонович Карсавин несколько раз останавливался у нас после того, как в конце 20-х уехал из Берлина в Прибалтику. Последний раз он приходил к нам за несколько лет до моего переезда в Англию. В тот раз он просил меня показать ему знаменитый берлинский музей — Пергамон, музей кайзера Фридриха и некоторые другие. В то время он болел простатитом, поэтому чаще посещал музейные туалеты, чем сами музеи. Бедный! Лев Платонович жил с женой и дочерьми в Париже, хотя их отношения — как рассказывала мне мама — складывались так, что в течение нескольких лет они не разговаривали. Хорошо помню его дочь Сюзанну, я часто играл с ней. Она была толстой, и меня не интересовала. Старшая дочь Карсавина, Марианна, вышла в Париже замуж за некоего Сувчинского (позже он стал певцом). Трагическая судьба Карсавина — после оккупации Прибалтики он был арестован Советскими властями и умер в концлагере — хорошо известна и документирована.

К кругу наших друзей несомненно принадлежал Юлий Исаевич Айхенвальд, часто у нас бывавший. Человек характера необычайно кроткого, напоминавший мне стилем поведения и общения — ненавязчивым и полным достоинства — моего отца, он был притом скептик. Когда,

сразу после его смерти, отец писал некролог, он привёл там его же собственные слова: «Бог не дал мне дара верить в него». Он попал под трамвай, возвращаясь от нас. Он умер в больнице, не приходя в сознание. Говорят, что у него был повреждён какой-то управляющий голосовыми связками нерв, и он продолжал непрерывно кричать, пока не наступила смерть.

В конце двадцатых в доме у нас бывал епископ Вениамин — Иван Афанасьевич Федченков. Помню его добрый взгляд, живой ум и долгие беседы с отцом о трагической судьбе русской церкви и о той роли, которую она должна играть в эмиграции. Епископ сохранил веру и преданность Патриарху Московскому и после войны вернулся в Советский Союз, прекрасно зная, что его там ожидает.

Время от времени к нам заходил доктор Альтшуллер — родственник или даже сын близкого друга Л. Толстого. Его сопровождала дочь, очень привлекательная девушка. Они, кажется, уехали из Берлина ещё до прихода Гитлера к власти. Екатерина, дочь профессора, произвела на меня впечатление, поразив своей таинственной красотой.

А теперь позвольте мне рассказать о тех наших друзьях и знакомых, кто, приехав издалека, поселялся у нас надолго. Особенно дорог нам был Пётр Бернардович (а не Бернгардович) Струве — «дядя Петя». Он был близким (и, возможно, единственным) старинным другом отца. Познакомившись в студенческую пору, они остались друзьями на всю жизнь, и основой их отношений служило неизменное уважение друг к другу. Его многочисленные сыновья — Глеб, Алексей, Лев, Аркадий и Константин, которым трудно было в детстве выговорить «Семён Людвигович», всю жизнь по привычке называли отца «Нюнич». Пётр Бернардович был крестным отцом Виктора.

Отец давал уроки философии состоятельному русскому инженеру по фамилии Ольгин. Частные уроки служили дополнительным и наиболее приемлемым источником дохода. Сын инженера — Константин — типичный англичанин по стилю и образу жизни — работал внештатником на радио «Свобода» в Мюнхене. Отношения между нашими семьями вызывали у него удивление. Ольгин, появляясь в нашем доме, никогда не забывал о цветах для мамы и небольшим подарке для меня. Истинно русский джентльмен.

Мы были дружны с профессором Макаровым, его женой и двумя дочками, которые были одного со мной возраста. Если я не ошибаюсь, Макаров, как и Леонтьев, был «невозвращенец», т.е. Россию он покинул официально и остался за границей. В 60-х годах мы с мамой навещали вдову профессора, она жила в Гейдельберге. Профессор Макаров, экономист по образованию, был последним директором Русского Научного института и руководил им до той поры, пока нацисты его не закрыли. В любом случае, институт давно уже утратил свою роль, поскольку к моменту закрытия его посещали лишь несколько студентов.

Дядя Петя приезжал к нам довольно часто — из Белграда или Праги. Несколько раз я водил его в великолепные берлинские музеи, которые неплохо знал по школьным экскурсиям. В последний раз я видел его в октябре 38-го года, когда он приезжал к Глебу в Лондон. Глеб просил меня присматривать за ним и показать ему город. Наибольший интерес у него, естественно, вызвала библиотека Британского музея, где мне и приходилось часами его ждать. Он, кажется, был в очень сложных отношениях с женой Глеба, Юлией Юльевной, и был с нею так груб, что даже меня это приводило в замешательство.

В то время я был по-романтически глупо увлечён британскими «левыми» и неосторожно показал ему одну из книг, которую я в то время читал. Она называлась «Советская демократия» и вышла в наивном фабианском «Клубе левой книги». Он так разозлился, что мне показалось, сейчас его хватит удар, стал на меня кричать: «Потом узнаешь всю горькую правду», — и не разговаривал со мной всю дорогу до дома. Когда на следующий день я зашёл за ним к Глебу, чтобы отвести его в Британский музей, он, как мне показалось, совершенно забыл о вчерашнем происшествии и был со мной по обыкновению мил.

Они с папой были на «ты», но обращались друг к другу по имени-отчеству. На «ты» папа называл при мне только ещё двух человек, своих студенческих друзей — Бужанского и Василия Эльяшевича.

В молодости в духовной и политической атмосфере России конца прошлого века Пётр,

подобно папе и большинству русской интеллигенции, был «левым», естественно, знал Ленина (которого он терпеть не мог и считал злым человеком) и других ведущих социалистов того времени. Потом почти одновременно с папой он полностью разочаровался в социализме. Эта политическая (или, скорее, духовная) метаморфоза, теперь уже неплохо документированная и исследованная, произошла, когда папа всё ещё был студентом (дядя Петя был несколькими годами старше). Вы можете прочитать об этом в воспоминаниях отца, опубликованных в парижском «Вестнике» и, более детально, в его книге о Струве, написанной сразу после смерти дяди Пети в 1944 году.

Вопреки желанию отца назвать книгу «Воспоминания о П. Б. Струве», книга вышла под названием «Биография П. Б. Струве».

До сего дня и папу, и особенно дядю Петю (который из них двоих был более склонен к политике) называют «марксистами». Это касается и безграмотных русских «правых» политэмигрантов из бывшего Советского Союза.

Если исходить из папиного толкования политической деятельности Струве, дядя Петя всегда страстно стоял за справедливость. Когда он верил, что социализм благотворен для России, он поддерживал социализм. Когда он понял, что политические последствия социалистических идей будут представлять опасность, он перестал быть социалистом. Он стал кадетом, уверенный, что эта партия может облегчить положение в стране. Его превращение в страстного и воинствующего антисоциалиста вполне логично вытекало из особенностей его характера: он понял, что ленинский социализм — это чума для России.

В эмиграции русские правые экстремисты постоянно обвиняли его в приверженности социализму. И неудивительно, что после немецкой оккупации Югославии какой-то негодяй из русских обвинил его в том, что он был (в конце прошлого века!) идеологическим союзником Ленина. Его арестовали и поместили в тюрьму в Граце. Там он потребовал полное собрание сочинений Ленина, каковое и было ему предоставлено. Он выбрал все места, где Ленин упоминает о нём в отрицательном или даже оскорбительном смысле, и тем самым вынудил немцев признать абсурдность выдвинутых против него обвинений (Советское КГБ или его предшественники — ЧК, ГПУ, НКВД, конечно, никоим бы образом не освободили его в аналогичной ситуации. Если бы его арестовали в Советском Союзе, ничто не могло бы заставить власти отпустить его на свободу).

Время от времени с ним приезжала жена, Антонина Александровна. Папа как-то намекнул, что в первые годы женитьбы дядя Петя часто бывал неверен жене. Я, естественно, ни подтвердить, ни опровергнуть этого утверждения не могу.

В 1946 году в советском секторе Вены я встретил их сына Аркадия (Адю). К тому времени он был уже совершенно глухим, и, таким образом, общение не получилось. Он жил там в качестве служки при епископе Сергее, который был сослан в Австрию из Советского Союза. Папа говорил мне, что считает Аркадия образованным и умным человеком, который предан своему отцу и даже посвятил ему собственную жизнь, став его личным секретарём. В момент смерти дяди Пети только он один был с ним в квартире, но из-за глухоты не смог услышать последние слова отца.

После службы в церкви, которая находилась в том же здании, что и советское посольство, меня пригласили к епископу на обед. Когда я увидел Адю — просьба учесть, что нормальное общение было совершенно невозможно — он сидел на кухне и чистил епископу башмаки. Мы поцеловались, улыгнулись друг другу, я дал понять, что хотел бы встретиться с ним ещё раз, но он печально покачал головой. Я не знаю, что он имел в виду — либо его положение служки при епископе не позволяло ему общаться с людьми, которые были в гостях у епископа, либо же для меня могло быть опасно приходить в дом в советском секторе. В те времена (сразу после войны) людей часто похищали в советском секторе, и они пропадали бесследно.

Я пошёл в столовую, чтобы принять участие в епископском обеде (в том обеде, который Адя приготовил для гостей — конечно, сам он участия в этом празднестве не принимал). Когда я засобирался уходить, я снова пошёл на кухню, мы ещё раз поцеловались, и я ушёл. Это была печальная встреча.

Папа любил дядю Петю и воспринимал его действительно как великого человека, сравнил его с Гёте по универсальности знаний и образования.

«Toutes proportions gardees» («Все пропорции соблюдены»), — говорил он. У него, как говорил нам папа, была фотографическая память, которая давала ему возможность дословно цитировать отрывки из книг, которые он когда-либо читал. Я помню, как дядя Петя говорил (или, может быть, я слышал это от отца), что такая память надоедает, создаёт проблемы: голова загромождена огромным количеством ненужной информации.

Если не считать короткого периода в 20-е годы, когда они разошлись по какому-то политическому вопросу, их тесная дружба длилась почти полвека.

* * *

В круг наших близких знакомых входил некто профессор Стратонов, также высланный в 22 году. После прихода нацистов к власти он стал представлять для нас некоторую опасность. Смею утверждать, что у папы были доказательства того, что он сотрудничал с нацистами и работал на них осведомителем. Стратонов тоже состоял в штате преподавателей Русского научного института.

В течение первого года нашего пребывания в Берлине мы часто встречались с Гучковым, который до революции играл важную роль в российской политике. Его семья жила неподалёку от нас. Сын Гучкова, Ванечка, был монголоид. Хотя мама впоследствии это и отрицала, она говорила что-то вроде: «Ешьте вашу кашу, а то будете похожи на Ванечку Гучкова». Я, конечно, старательно доедал всё из своей тарелки, так как очень боялся быть похожим на Ванечку. В то же самое время свою карьеру вундеркинда-скрипача начинал Иегуди Менухин, и мне иногда (я уверен, что в шутку) напоминали, что он зарабатывает столько, что родители его могут вполне существовать на его доходы. Так что часть моего детства прошла между «двух огней»: Ванечкой Гучковым (которого я жалел) и Иегуди (которому я завидовал).

Дачи

Следуя чисто русскому традиционному представлению о том, что лето нужно проводить «на природе», вдали от обычного места обитания, мы неизменно снимали на шесть недель летних каникул дачу. Поиск подходящей недорогой дачи — не слишком далеко, но и не слишком близко — всегда был маминым делом. Весной она уезжала куда-нибудь за город, присматривала домик под съём на вторую половину июля и почти на весь август (школьные каникулы) — и снимала тот, который она считала подходящим и доступным по цене. Финансовая сторона дела была достаточно проста: нужно было только найти кого-нибудь, кто снимет на это время нашу квартиру, а вырученные деньги потратить на дачу.

Поскольку ходила по магазинам и готовила сама мама (обычно с Наташиной помощью) — так же, как это было и в Берлине, — дополнительных расходов не было. В это время и у папы в университете тоже были каникулы, и он писал, время от времени уезжая в Берлин на день, если это было необходимо. Летние дни мы проводили строго по расписанию. Если погода позволяла, по утрам ходили плавать. Интересно было наблюдать за отцом, когда он забирался в воду. Он входил в озеро или в реку, пока вода не доходила до пояса, потом плескал воду себе на спину, крестился и нырял, уходя под воду с головой; он плавал стандартным русским «интеллигентским» стилем — саженками. Дальше следовал обед, после которого папа, по традиции, спал; в течение этого времени все вели себя очень тихо. После чая мы неизменно шли на прогулку или за грибами — их мы поедали в тот же вечер. Какая роскошь, какое празднество! Собирать грибы стало привычным времяпрепровождением, я привык к этому, научился различать съедобные и ядовитые грибы. Папа был хорошим грибником, несмотря на близорукость. Во время этих прогулок мы с папой не раз говорили по душам, он рассказывал мне о своей юности. Часто заходил разговор на философские темы, многое мне было непонятным, но меня крайне интере-

свало: что есть бесконечность? что случается с «я», когда мы умираем — умирает «я» вместе со мной или «я» это и есть душа? где есть Бог и что он такое? почему я должен его любить? просто потому что он любит меня? что такое грех и почему грешить дурно? кто заставляет меня грешить — дьявол? и кто он в таком случае? почему Бог позволяет дьяволу существовать? на самом ли деле он всемогущ, если позволяет дьяволу искушать меня? Я задавал отцу вопросы и о менее философских материях — об истории, географии и морали. Разговоры эти дали мне многое. По вечерам мы читали. Иногда папа, чаще Виктор читали нам по-русски.

Самая моя любимая дача была в Ребруке, близ Потсдама. Мы провели там два лета 28 и 29 года — в двух разных местах. Первая была возле ручья, красивого леса, а вторая — в деревне, которая теперь наверняка выросла в маленький городок.

В Ребруке я в последний раз видел папиного брата, дядю Мишу. Он несколько раз приезжал из России в Берлин. В то время ещё была возможность получить разрешение на выезд к родственникам, живущим за границей. Я был поражён внешним сходством братьев, разве что отец был гораздо выше. Добрый взгляд и богатый внутренний мир делали этих людей похожими друг на друга. Несомненно, общей чертой всех троих братьев (включая дядю Лёву, младшего сводного брата) была доброта.

Иногда мы с соседским мальчиком из такой же русской семьи рвали яблоки и вишни с растущих вдоль дороги фруктовых деревьев и приносили свою добычу мамам. Когда отец узнал об этом, он рассердился и сказал — я помню это почти дословно — «Из-за таких, как вы, хулиганов у нас и произошла революция. Отсутствие уважения к чужой собственности — вот один из корней российской трагедии». Он имел в виду, что эти деревья принадлежали деревенской общине, другими словами, мы совершили кражу. По мнению отца, именно отсутствие уважения к чужой собственности и сделало возможной и неизбежной революцию в России. Немцев с этой точки зрения он считал нацией более цивилизованной.

Весьма типично для отца было рассматривать мораль как неотъемлемую часть социальной политики. Он был уверен, что общество не может существовать, а тем более развиваться нормально без внимания к вопросам морали. Это рано или поздно, но неизбежно приведёт к социальным катаклизмам.

Во время нашего летнего пребывания в Ребруке нас часто посещал Кузьмин-Караваев (который был выслан вместе с нами). Не могу сказать, что хорошо помню этого человека, но вот обилие растительности на его лице и голове не забыл. Более всего меня поражало то, что Кузьмин-Караваев исповедовал католицизм. С точки зрения моего детского наивного национализма тот факт, что русский стал католиком, — предательство всего русского. Папа имел обыкновение уходить с ним на долгие прогулки, и мне всегда казалось, что целью этих прогулок были попытки отца помочь ему преодолеть заблуждения и вернуться к истинной вере. Между прочим, весьма характерно, что в среде интеллигенции все серьёзные разговоры непременно происходят во время прогулок, и в особо важных местах собеседники неизменно останавливаются, а когда эпизод обсуждения окончен, прогулка возобновляется.

В Ребруке с папой случилось то, что мама называла нервным срывом. У него началась бессонница; даже я стал его раздражать, чего раньше никогда не было. Я никогда раньше не видел его в таком состоянии. Маме как-то удалось достать немного денег, и папа уехал в санаторий в Баденвайзере (Шварцвальд), где, кстати, умер Чехов. В Берлин мы вернулись без него. Это, как ни странно звучит, было к лучшему, потому что папа страдал *Reisefieber* (горячка, повышенная суетливость во время путешествия) и заставлял всех спешить без надобности, хотя времени было предостаточно. Мы все понимали, что он заботится о нас же, но это мешало нормальному ходу дел и необходимой для поездки организованности. Из-за его *Reisefieber* мы оказывались на вокзале не меньше чем за час до отхода поезда.

В первый раз, как я уже говорил, мы жили в Ребруке в отдельном маленьком доме возле ручья. Там я научился плавать (сам), кто-то научил меня ловить раков. Мы часто ели их на обед, хотя мне было очень жаль их, когда мама бросала их в кипящую воду. В тех же местах жила русско-еврейская семья по фамилии Ламперт. Татьяна Савельевна (мама знала её ещё в студенческие годы), её муж Илья Исаакович, суровый не улыбочивый человек, что большая редкость

в среде еврейских интеллектуалов. Я всегда его боялся, как боялись его и два его сына — Женя и Алёша. Женя был ровесник Наташи, Алёша на несколько лет старше. Женя часто брал меня с собой покататься на велосипеде (я сидел на раме). Однажды мы покатались под горку, и у нас отказали тормоза. В это время его и мои родители смотрели на нас. Естественно, они были напуганы. Не помню, как мы остановились. Ламперт был очень сердит и наказал Женю, а мама обняла меня и поцеловала, радуясь счастливому исходу.

Два лета — 34 и 35 года — мы провели на берегах Мелензеи — одно из целой цепи озёр, образованных рекой Хавел. Мы снимали часть дома прямо на берегу большого озера. Домовладельцами были: престарелая дама фрау Ройтер и её старая мать, фрау Сорока, которая умерла как раз в период нашего пребывания в их доме. Так я впервые столкнулся со смертью, неизбежность которой не давала с тех пор мне покоя. Я помню страшный шок, который я испытал, увидев эту странного вида куклу, лежавшую в гробу, которая совсем недавно была человеческим существом и которую я хорошо знал.

Во время нашего пребывания на Мелензее произошло событие, которое даже на мой политически непросвещённый взгляд должно было иметь (и в самом деле имело) зловещие последствия. После смерти Гинденбурга мы узнали, что к власти пришёл Гитлер. Немецкие вооружённые силы вынуждены были принести ему присягу. Это означало, что единственная сила, могущая противостоять его политическим амбициям, была нейтрализована. С этого момента мрачный путь дальнейшего развития Германии стал очевидным для всех, у кого были глаза, кто умел видеть. Папа начал понимать, что дальнейшая жизнь в Германии для нас невозможна. Для него, для истинного германофила, воспитанного в лучших традициях германской мысли и философии, это была настоящая трагедия. Вторая эмиграция за 10 лет? Отец был политически зрелым человеком и (позволю себе заметить) обладал даром предвидения в политическом отношении и был уверен, что Гитлер непременно развяжет войну. Может быть, в первый раз со времени нашего приезда в Германию (я был слишком юн, чтобы в полной мере осознавать тяжесть ситуации) мы начали понимать серьёзность нашего положения.

В 37 году мама организовала пансион для евреев. К этому моменту фашисты уже четыре года находились у власти, и для такого шага нужна была значительная смелость. Вскоре на местном пляже появилась табличка: «Fuer Hunde und Juden ist das Baden verboten» («Собакам и евреям купаться запрещено»).

Я не очень хорошо помню большинство наших пансионеров, могу только сказать, что они все очень были похожи на немцев, как это обычно бывает с немецкими евреями. Один из них, герр Юкер, научил меня курить, и я курил в малиннике и постоянно жевал мятные конфеты, чтобы мама не унюхала запах табака. У нас жила вместе со своим другом, немецким евреем, русская актриса Лидия Дурова, очень красивая женщина. Так получилось, что она стала первой женщиной, которую я увидел совершенно голой, — и счёл, что это не так интересно, как мне казалось.

Незадолго до того, как я уехал из Берлина, мама попросила меня нанести визиты кое-кому из тех людей, которые жили в пансионе, чтобы собрать с них плату за телефонные переговоры. Требуемую сумму мне отдали все, кроме одного — не помню его имени, он буквально выбросил меня из квартиры, сказав, что он расплатился полностью и не желает иметь дела с паршивыми гоями. Я был слишком удивлён и смущён, чтобы ответить ему. Поразительна непорядочность и ненависть, которую еврей выразил по отношению к нам, хотя его, наверное, можно было понять.

Поздней осенью того же года, вскоре после того, как я уехал в Англию, хозяйка той виллы, где располагался пансион, начала процесс против папы и мамы, обвинив их в том, что они задолжали ей арендную плату. Дело слушалось в суде Шарлоттенбурге. Процесс был прекращён после того, как судья встретился с папой и вынес о нём сугубо личное, очевидно, весьма благоприятное мнение, несмотря на то, что папа был евреем. Я помню, как папа бодро рассказывал нам об этом инциденте как иллюстрации относительно либерализма нацистского режима по сравнению с условиями Советского Союза, где подобный случай просто не мог бы иметь место. Только представьте себе: еврей, иностранец, которого признают невиновным только на основании личного впечатления судьи, и сочтут при этом, что немецкая женщина, может быть, даже член

нацистской партии, лжёт, и приговорят её к штрафу. По мнению папы, старые здоровые либеральные традиции немецкой бюрократии не могли быть уничтожены за несколько лет нацистского варварства. К сожалению, это сопротивление было недолгим и традиции были совершенно «gleichgeschaltet» («уничтожены») в течение нескольких лет. Другим примером относительного либерализма немецкой бюрократической системы при нацистах был тот факт, что мне разрешили не вносить ежемесячную школьную плату, которая в то время составляла около 20 марок. Когда наша финансовая ситуация оказалась плачевной, папа написал письмо в дирекцию школы и объяснил ситуацию, после чего они взяли расходы на себя. Шёл 1934 год. Я уверен, что несколькими годами позже для него, иностранца и еврея, подобного исключения бы не сделали.

Дядя Лёва

Иногда к нам из Парижа приезжал дядя Лёва, папин единоутробный брат. После смерти дедушки, Людвиг Семёновича, в 1881 году (он был военным врачом и получил медаль «За храбрость» в период русско-турецкой войны и титул «непотомственного дворянина») бабушка Розалия Моисеевна, урождённая Россиянская, вышла замуж за Василия Ивановича Зака, химика, в конце 80-х годов. Их сын Лев был на 14 лет младше папы. Последний раз дядя Лёва приезжал в Берлин в 36-м году, тогда он и написал знаменитый папин портрет. Мне дядя Лёва всегда очень нравился, его лёгкая сутулость и прекрасная — скромная и слегка насмешливая — улыбка, но я никогда не был с ним близок. В 38-м году он приезжал в Англию на выставку своих работ. Рецензии появились в серьёзных газетах и были весьма лестными, но, несмотря на это, он продал только несколько картин. В тот же год и на следующий год, когда мама и папа уже жили в Париже, я побывал у дяди Лёвы, познакомился с тётей Надей и двумя их детьми — Зозей и Васей. Они были примерно моего возраста. Ни с кем из них я никогда близко не сошёлся.

Дядя Лёва был необычайно одарён как художник — его портреты были чудесны, особенно портрет дедушки, и прочие его работы обладали той же мистической глубиной, как написал про него папа, но его стиль, само направление его работы не совпадали с модой 20 — 30-х годов. С моей точки зрения, он был более глубок и более талантлив, чем многие из тех живописцев, которые достигли в этот период мировой известности. К несчастью, добиться признания ему оказалось не так легко; первые 20 — 30 лет эмиграции он жил на грани бедности. Во время немецкой оккупации он скрывался во французской провинции и жил где-то неподалёку от Гренобля, где прятались от немцев и мама с папой. Только после войны он добился определённой известности и первый раз со времён революции вышел из крайне стеснительных финансовых обстоятельств. Это случилось после того, как он стал «абстракционистом». Мне он объяснил, что это было частью, ступенью его внутреннего становления, он просто не мог писать так, как раньше. Одна из картинных галерей Парижа подписала с ним контракт, по которому регулярно выплачивала скромную сумму в обмен на его работы. Незадолго до смерти тёти Нади случилось нечто необычное. Некий её дальний родственник, с которым, как я понимаю, она даже не была знакома, умер и оставил ей весьма значительную сумму денег. Так что последние годы семья дяди Лёвы жила в относительном комфорте. После войны все они перешли в католицизм.

Так случилось, что мне довелось увидеть дядю Лёву за неделю до его смерти в 1980 году. В молодости он писал стихи и публиковал их под девичьей фамилией матери — Россиянский. Читатели литературы считали его одним из величайших поэтов его времени. Когда я был в Москве в 1988 году, знаток литературы Осповат сказал мне, что Россиянского хорошо знают и ценят те, кто знаком с дореволюционной литературой. После смерти дяди Лёвы в Париже вышла книга его стихов, а в 1993 году его именем была названа парижская площадь.

Натура его, природа была похожа на папину, но по характеру они были совершенно различны. В отношении дяди Лёвы к другим людям был отблеск папиной доброты, как было что-то отцовское в глубине восприятия мира, в постоянном ощущении непосредственного и глубоко личного контакта Бога с человеческой душой. Я не слишком разбираюсь в поэзии и вряд ли могу оценить уровень его дарования, но существует мнение, что глубина его стихов сравнима с глубиной папиной души. Упокой, Господи, душу его. Насколько я знаю, его брак не был счастли-

вым. Папа и мама говорили мне, что у него серьёзная связь с какой-то француженкой — фактически он жил у неё чаще, чем дома. В конце 30-х, когда папа и мама переехали во Францию и поселились в предместье Парижа Фонтане-о-Роз, он имел обыкновение наносить им визиты с этой женщиной. А на следующий день мог приехать с тётёй Надей. Всё это, как мне рассказывали, очень не нравилось папе и особенно маме. Я догадывался, что они просили дядю Лёву прекратить визиты с любовницей.

Наши берлинские дни

Я начал ходить в школу после пасхальных каникул 27-го года. Конечно, в школу меня водили и забирали из школы — чаще всего папа, — потому что приходилось пересекать очень шумную улицу Курфюстендам. Мой старый друг Ханс Брадтке, с которым я возобновил дружбу, когда встретил его уже в 65-летнем возрасте, вспоминал о моём отце так: «ein wuerdiger grosse Mann mit einem Spazienstock» («Какой-то высокий человек с бородой и тростью»). Позже, после того как мы недолгое время жили в Шенеберге на Нойскантштрассе, мне было уже девять лет, и мне разрешали ездить в школу на автобусе, а в возрасте 14 — 15 лет — на велосипеде. Путь в школу от последнего нашего места жительства я проделывал пешком минут за 20.

Как мы жили? В квартире на Хекторштрассе, 11, нашей последней квартире, где мы жили до того момента, как нас вынудили уехать, было три с половиной комнаты, большая кухня, ванная, туалет и маленький балкон. Она была на втором этаже так называемого гарденхауза (садового домика), что, согласно типичной берлинской довоенной (до 1-ой Мировой войны) планировке, выглядело как дом во дворе дома. Папа с мамой жили в самой большой комнате, в которой был выход на балкон, мы с Виктором занимали вторую комнату, а Наташа занимала крошечную комнатку рядом с кухней, Алёша, когда он приезжал, жил в одной комнате со мной и с Виктором. У нас, естественно, не было холодильника — тогда его могли позволить себе только очень состоятельные люди. Иногда мы покупали большой прямоугольный кусок льда, который тогда продавали на улице, приносили его домой и клали в ванну, а сверху — свежую пищу. В ванной не было горячей воды. Чтобы принять ванну, приходилось топить углем печь, таким образом все принимали ванну в один и тот же день, обычно это было по субботам. Несмотря на финансовые трудности, у нас всегда был телефон. С тех пор как нацисты ввели практику прослушивания телефонов, мама переходила на шёпот, когда хотела сказать что-либо критическое в адрес существующего режима. Каждое утро, чтобы умыться, мы грели воду на газовой плите. Завтраков я не помню, разве что кофе, разбавленный эрзац-кофе — так выходило дешевле. Когда в том была необходимость, я ходил по утрам в маленький молочный магазинчик в нашем же доме и покупал булочки, молоко, масло, что-нибудь ещё, что было нужно и не выходило за рамки наших финансовых возможностей. Каждое утро папа получал «Vossische Zeitung», либеральную берлинскую газету и русскую газету «Руль». Обе газеты прекратили своё существование около 33-го года. Когда я возвращался из школы, большой и обильный обед был уже готов (Наташа и Виктор работали, Алёша жил своим домом или вообще был в Лондоне или Париже). Обед состоял неизменно из хлеба, четверти фунта масла, того же количества колбасы и сыра. Изредка бывали сардины или маринованная селёдка. Время от времени мама готовила жареную картошку. За столом никогда не было спиртного, даже пива — папа этого не выносил и рассказывал нам, что он перестал пить ещё в студенческие годы, после того, как он выпил немного шампанского, и закончилось это очень неприятной (невыносимой, по его словам) болью в плечах. Крайне редко мама доставала к чаю немного сладкого вина (это всегда была Tarragona) — по случаю особенных гостей. Я как-то незаметно от всех его попробовал, на вкус оно было прекрасно.

Мамины пироги и особенно пирожки были великолепны. Я любил с капустой или с мясом и рисом, или с грибами и рисом. Не думаю, что я пробовал что-то вкуснее маминых котлеток. Обычно мама готовила что-то вроде макарон (очень мягкие, на русский манер, и никоим образом не недоваренные — таковые вообще считались несъедобными) с мясным соусом (шарики, сделанные из прокрученного мяса и помидоров), картофельные котлетки неизменно подава-

лись с грибным соусом или рыбные котлетки с соусом из хрена. Иногда она делала котлетки из риса. Эти полагалось подавать под томатным соусом — и Боже упаси с чем-то другим. Мама очень вкусно жарила селёдку (особенно по весне, когда селёдка жирнее), хотя я терпеть не мог сам процесс приготовления рыбы из-за запаха. Она также мариновала селёдку или макрель. Общим любимым блюдом была варёная рыба с варёной картошкой и рубленным яйцом, политая растопленным маслом — «рыба по-польски». Были всевозможные запеканки — блюдо, похожее на блинчатый пирог, курник, сделанный из куриных субпродуктов (куры по тем временам были очень дороги). Основным блюдом, естественно, был борщ или щи, подаваемые с гречневой кашей. Отец любил гречку с молоком. (Интересно, что именно гречневая каша называлась собственно кашей, и никакая другая, овсяная каша называлась «овсянка».) А ещё были эти великолепные голубцы. Непрокрученное мясо подавалось редко — это было слишком дорого. Тем не менее изредка мама готовила тушёное мясо с варёной картошкой. Великолепно! Я также любил ленивые вареники — нечто таинственно русское, не имеющее аналогов (шарики из творога с яйцом и мукой отпаривались, потом обжаривались в масле и подавались со сметаной). Никто, кроме избранного Богом народа, то есть русских, — не способен изобрести ничего такого мистически великолепного, как вареники. В последнюю неделю перед постом были блины с какой-нибудь простой закуской и, естественно, без водки. В доме она была настрого запрещена, хотя мама любила вспоминать, как её отец, Сергей Иванович, всегда выпивал две рюмки водки перед обедом или ужином.

Мама была ограничена в её кулинарных изысках строгим вето на лук. Папа просто не выносил вкуса лука и чеснока. Позже она призналась, что добавляла лук в некоторые блюда, и папа этого не замечал. Однажды, когда она приготовила котлетки без лука, он сказал, что у них неправильный вкус. Виктор тоже делал вид, что он тоже не любит лук, стремясь хотя бы в этом быть похожим на папу.

Мама была прекрасным импровизатором в том, что касалось кухни. Я часто удивлялся, как она умудрялась кормить семью из шести человек с тем мизерным количеством денег, которые были в её распоряжении. В течение этих пятнадцати лет в Берлине никто из нас не мог сказать, что лёг спать голодным.

За стол все садились в одном и том же порядке. Мама сидела во главе стола (так было ближе к кухне), папа сидел справа от неё, напротив меня. На другом конце стола, напротив мамы, было место Виктора. Следом за мной, напротив Наташи, которая сидела справа от папы, было место Алёши, если он приезжал в Берлин. Мы должны были перекреститься до еды и после, но молитва не читалась. После еды все дети целовали маме и папе руки, а они целовали нас в лоб. Я был научен целовать руку замужней женщине при встрече и при расставании и щёлкать каблуками не на немецкий манер, когда мальчик должен одновременно поклониться и выставить зад. В общем, я был воспитан в духе традиций дореволюционной интеллигенции — либеральных, но жёстких. Невозможно было представить, чтобы я вдруг встрял в разговор взрослых, хотя, будучи ребёнком, я играл в семье определённую роль и даже имел свои обязанности. Я должен был выносить мусор, приносить уголь из чулана, время от времени ходить в магазин и вытирать посуду.

Приезд Алёши всегда был для нас событием. Он был тогда танцором в балетной труппе и редко оказывался в Берлине. Его присутствие сразу меняло атмосферу в доме на диаметрально противоположную. Его богемный образ жизни, странная безответственность перед другими людьми и особенно перед самим собой, а проще говоря, нежелание справляться с любой сколько-нибудь серьёзной проблемой («само как-нибудь всё решится»), его жизненный принцип — «была не была» (наслаждайся жизнью сейчас и плевать на последствия) были очень привлекательны для тинейджера, потому как казалось, что всё это может сделать жизнь более лёгкой, красивой, поразительной, чем она на самом деле была. Его жизненная философия была проста, но даже в те годы я понимал, что она неверна, я чувствовал это инстинктивно, без какого бы то ни было интеллектуального обоснования. И всё-таки, учитывая, что я был воспитан в очень интеллектуальном окружении — притом мама была любящим, но абсолютным монархом, а папа

любящим, но абсолютным авторитетом, — его приезды вносили радостное разнообразие.

Когда Алёша приехал в Берлин с труппой де Базиль в 36 году и остался на целый месяц, мне этот его приезд очень понравился и запомнился, потому что я («Васенька») стал любимцем большей части его коллег — как мужчин, так и женщин. Я говорил по-немецки, хорошо знал Берлин и местные обстоятельства и таким образом был для них как бы полезен. Они давали мне самые разные поручения — одна танцовщица просила сопровождать в магазин женского белья, другая хотела, чтобы я был её переводчиком, когда она ходила к дантисту, и держала мою руку, пока ей сверлили зубы. Жена ведущего танцора просила меня выяснить, что случилось с её бриллиантами в гостинице. Выяснив, что они украдены, я сходил с нею в полицию и с гордостью чувствовал себя её антрепренёром. Большинство танцоров оказались очень милыми людьми, и жизнь их была отлична от той, к которой мы привыкли. Их окружала аура романтизма. Я проводил почти всё свободное время в театре Скала, где они выступали, несколько раз меня нанимали клакером на представления, раз или два я появлялся на сцене в массовке в батальных сценах. Мне представлялось, что я член этой романтической, безответственной и при этом невероятно привлекательной группы людей. После спектакля меня часто водили обедать, или мы ходили в пивную. Там меня кормили и угощали пивом и познакомили с таинственным напитком под названием «водка», к которому с тех пор я развил в себе некую полулюбовь-полуненависть. Алёшины приезды в Берлин наполняли мою жизнь волшебством и очарованием, хотя в глубине души я понимал, что его богемный (или, скорее, цыганский) образ жизни был не для меня. Я завидовал ему и не хотел (точнее, не мог) быть на него похожим.

Примерно в то же самое время в Берлин приехал Фёдор Шаляпин и давал концерт в том же театре Скала. Я и кто-то из моих друзей, не имея денег на билеты, ждали за сценой. Когда он появился после выступления, он показался нам огромным. Он был, судя по всему, в хорошем расположении духа, принялся обнимать всех, кто к нему тянулся, и стал приглашать всех на обед в очень дорогой ресторан «Horchel». Я был слишком напуган и очень смущён, чтобы принять его приглашение — какая жалость!

Позже мне сказали, что в этот день он не мог петь и мастерски отработал программу речитативом. Это было за год до его смерти.

* * *

Мама обожала кошек, я тоже. Когда мы жили в последней из Берлинских квартир, кто-то подарил нам — или мы купили? — сибирскую кошку, которую мы назвали Муркой. Она жила с нами около трёх лет и умерла при родах. После её смерти одного из котят мы утопили, в другом безуспешно пытались поддержать жизнь, кормя его тёплым молоком и согревая бутылочкой с тёплой водой. В ту ночь, когда Мурка умерла, я принёс её к папе с мамой, рыдал и хотел, чтобы они целовали её мёртвое тело, приговаривая: «Вы любили её, когда она была жива, любите же её мёртвой». Я её похоронил за нашим домом. Мурка, когда была в добром расположении духа, имела обыкновение лежать на высоком комод в столовой и мурлыкать. В тот вечер, когда у нас был Густав Густавович Кульман (я расскажу о нём позже), он как раз объяснял политическую ситуацию в Европе и комически искажил какое-то русское слово так, что мы все расхохотались, а Мурка упала с комода и разбила вазу. Он сказал, объясняя германскую оккупацию, что мир висит «на волоске», поставив ударение на втором слоге. Это звучало очень комично, особенно если учесть, что он человек эмоциональный и говорил громко. Мы не могли удержаться от смеха, и Муркино падение спасло нас от очень неудобной ситуации.

Кульман, франкоязычный швейцарец, занимал какой-то важный пост в Лиге Наций, других международных организациях, где он служил до и после Второй мировой войны. Через него я получил стипендию от «Фонда по спасению детей» и визу для выезда в Англию. В 1946 году, после моей демобилизации, он устроил меня на работу в «Межправительственном комитете по делам беженцев», где сам занимал достаточно высокий пост.

В начале 20-х годов Кульман каким-то образом оказался связан с русскими делами и русскими беженцами. Он был павиным студентом в Русском Научном институте в Берлине и

остался верен дружбе во все последующие годы. Без его помощи у меня возникли бы серьёзные трудности с эмиграцией в Англию; наши паспорта оставались советскими.

Позвольте мне объяснить вам один нюанс. (Я исхожу из информации, которую я узнал из письма Виктора в 1959 г.) Мы прибыли в Германию в 1922 году, имея на руках паспорта, заверенные печатью правительства Советской России. Другого выхода у нас не было. (Когда мы были высланы, Советского Союза как такового ещё не существовало. Согласно договору между Германией и Советской Россией, подписанному в 1922 году в Рапалло, немецкая сторона не выдавала советских граждан, имевших нансенские паспорта.) У нас же были советские паспорта, которые регулярно продлевались советским консульством в Берлине, официально мы не были людьми, лишёнными гражданства, на самом деле являясь таковыми. Несмотря на факт высылки отца (специально оговорено было, что возвращение на родину грозит смертной казнью), чиновники из советского консульства каждый раз бывали вежливы и обходительны, занимаясь нашими документами. Они даже высказали предположение о том, что отец может вернуться, поскольку «ситуация в Советском Союзе улучшилась со времени нашего изгнания». Такой разговор состоялся где-то в 1936 — 1937 гг.

Условия договора, заключённого в Рапалло, относились ко многим, покинувшим Россию вместе с нами. Те, кто уехал из Германии в другую страну, смогли рассчитывать на статус беженцев и получение нансенского паспорта, который выдавался русским беженцам во всех странах, исключая Германию.

Не предоставлялось никакой возможности официально избавиться от советских паспортов. Я слышал, что кому-то удавалось найти выход из такой нелепой и трагичной ситуации. На адрес советского консульства высылалось оскорбительное письмо, нотариально заверенное, которое попадало в Министерство внутренних дел Германии. Дорога в консульство закрывалась, поскольку основание для этого считалось весомым. Думаю, что отец не смог в силу своего характера принять участие в таком шантаже.

Посещение советского консульства являлось маминной обязанностью (потом, возможно, этим занимался Виктор). Отец никогда там не появлялся. Однажды и мне пришлось побывать в консульстве. Это было в 1937 году, незадолго до моего отъезда в Англию.

Музыка

Музыка всегда много значила для меня, несмотря на то, что, к несчастью, ни отец, ни мама не обладали хорошими музыкальными данными. Отец принадлежал к музыкально образованным людям, но, к сожалению, не имел голоса. У мамы, напротив, был приятный голос, но отсутствовал слух, и её восприятие музыки происходило на дилетантском уровне. В детские и юношеские годы моё музыкальное образование диктовалось отцом, чья ежедневная игра на пианино (исключение составляли лишь летние месяцы) являлась неотъемлемой частью жизни нашей семьи. Пианино, которое отец брал в аренду, было одним из допустимых предметов роскоши в доме. Сразу после дневного сна отец, как правило, садился за пианино.

Не скажу, что он хорошо играл, но прочитывал музыку вполне профессионально. Обычно он старался избегать трудных моментов, неподвластных его технике. Очарованный красотой музыки, он закрывал глаза и раскачивал в такт головой. Любимым композитором отца был Шуберт, он также играл Бетховена, Баха, Шопена, Шумана, Мендельсона. Нравилась ему музыка Грига, Дворжака и, конечно, многих русских композиторов — Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, не очень сложные произведения Скрябина. Иногда я и Виктор под аккомпанемент отца исполняли Шуберта, Шумана, Мендельсона, Грига, простые арии из «Князя Игоря», «Садко», «Хованщины», из опер Чайковского. Представление проходило на чисто дилетантском уровне. С этого времени я люблю музыку Шуберта, ощущаю духовное родство с композитором. Я часто думал, что если бы Бог даровал мне гениальные музыкальные способности, я неизменно создал бы нечто в духе Шуберта.

Музыка Вагнера никогда не звучала в исполнении отца. Думаю, ему не нравились оперы

Вагнера. Правда, мама часто вспоминала, как в С.-Петербурге они с отцом слушали постановку «Лоэнгрин» и иногда фальшиво напевала любовную песню из этой оперы. В школе мне приходилось проходить через так называемую «промычку мозгов», слушая немецкие псевдогероические оперы Вагнера. Нацисты провозгласили Вагнера своим композитором, играя на его антисемитских и националистических настроениях, и впоследствии сделали его проводником своей идеологии в музыке. Я не любил музыку Вагнера, не отвечавшую моим вкусам и пристрастиям. Моё отношение к ней сохранилось и по сей день. Привлечение музыки Вагнера под знамена нацизма произвело на меня столь негативное впечатление, что я и теперь подхожу к оценке его творчества, пользуясь отнюдь не музыкальным критерием. Отдавая себе отчёт в неправомерности такого подхода, я понимал, что сторонние эмоции не должны мешать восприятию музыки как таковой. И тем не менее я не могу слушать мелодии Вагнера, не думая о стоящих за этим именем нацистах. С моей точки зрения, музыка доставляет такое же эмоциональное, даже чувственное наслаждение, как и созерцание красоты материализованной. Фактор объективности не играет никакой роли в нашем общении с музыкой. Должен признать, что моё отношение к Вагнеру продиктовано эмоциями, и я искренне сожалею, что не смог по достоинству оценить его творчество. Причину этого я вижу в том, что так и не сумел простить факта нацистской идеологизации музыкального гения. Именно нацизм я обвиняю в том, что было искажено моё понимание музыки Вагнера и я был лишён возможности в полной мере насладиться его произведениями.

Иногда к нам заходил профессор Александр Михеевич Мелких, хорошо игравший на флейте. Заменяв партию скрипки флейтой, они часто играли вместе с отцом. (В начале 60-х годов я встречался с этим человеком в Вене; пожилой худой человек невысокого роста.) Вспоминаю, как Елизавета Штутцер, будучи почти профессиональной пианисткой, исполняла у нас в доме некоторые произведения Скрябина, трудные для отца. Отец был большим поклонником музыки Скрябина, хотя не признавал так называемую «современную» музыку. Он рассказывал, что Скрябин, прочитав одну из его книг, предположительно сказал следующее — если бы он раньше познакомился с трудами Франка, то писал бы иную музыку.

За несколько месяцев до своей смерти отец говорил: «Музыка Моцарта не есть Богом данная». Возможно, благодаря внутреннему озарению, дарованному лишь избранным в преддверии ухода из этой жизни, отец услышал совершенно необыкновенную музыку, ничуть не похожую на музыку Моцарта.

Мне кажется довольно странным то, что, несмотря на своё мистическое понимание музыки, отец оставался приверженцем довольно ограниченного, очень субъективного и, я бы сказал, традиционного русского подхода к оценке музыки.

Так, например, отец не ценил и не понимал Брамса, за исключением его известных венгерских танцевальных мелодий. Музыка Листа была трудна для отца, а потому просто игнорировалась им. Малер не был популярен в те годы; отец, вероятно, даже не знал его произведений. Не существовала для него музыка Дебюсси и Равеля. Вивальди и его современники, за исключением Баха, были едва известны в 30-е годы. Интересно, что отец знал и любил (как и я, но по другим причинам) оперетту. В студенческие годы он многие вечера проводил в театре оперетты; билеты в оперу стоили очень дорого. Штраус, Миллёркер, Ланнер были любимы им, как и большинство австрийских композиторов, авторов «лёгкой музыки». Нравилась отцу оперетты Оффенбаха, знал он и некоторые произведения Делиба.

В нашем доме не было радио, лишь когда-то, в моём раннем детстве, Ви и/или Алёша собрали детекторный приёмник. Отец считал существование радио в доме неким посягательством на уединённость. По этой причине я был лишён возможности слушать камерную оркестровую музыку. Моё музыкальное образование, таким образом, было ограничено теми произведениями, которые исполнялись дома — отцом и гостями. Только приехав в Англию и познакомившись с великолепной коллекцией пластинок Поля (мужа Наташи), я узнал иную музыку. Действительно, впервые в жизни я оказался во власти звуков симфонии Бетховена и Брамса, песен Дебюсси, исполняемых Мэгги Тэйт (англичанка, восхитительное сопрано) и Одой Слободской. Всё это стало возможно благодаря изумительной коллекции пластинок Поля, которая открывала мне неизвестный ранее волшебный мир музыки. (Камерную музыку я понял и оценил в

зрелом возрасте, придя в восхищение от чистоты и красоты звучания каждого инструмента, от удивительной мелодии, рождаемой их гармоничным слиянием.)

Спустя много лет, уже в послевоенное время, отец признался, что отказ от радио был неверным поступком, хотя бы потому, что это лишило нас и его самого возможности слышать, учиться понимать и ценить музыку во всём её многообразии.

Однажды я получил билет на сольный концерт польского пианиста-вундеркинда. Будучи знаком лишь с любительской игрой отца, я был поражён тем мастерством, с которым мальчик исполнял произведения для фортепиано. Через год после этого Наташа и я попали в оперу на «Дон Жуана» Моцарта. После спектакля отец спросил, понравилось ли мне, на что я ответил — «нормально». Реакция отца была простой: «Дурак». Потом я понял, что он боготворил музыку Моцарта, особенно его оперы. Он ставил рядом Моцарта и Пушкина, подчёркивая их духовную близость. «Светлая печаль» роднила этих людей, вводила их в круг сынов божьих, творящих словом ли, звуком доброе дело своего создателя. Я представлял себе Моцарта проводником божественной музыки на земле, равно как и Пушкина. Казалось, оба творили без видимых усилий, легко, словно по мановению волшебной палочки. Моё восприятие музыки было и остаётся эстетически-духовным. Никакое другое искусство не действовало на меня столь сильно и глубоко; звучащая мелодия находит отклик в моей душе быстрее, нежели созерцание живописного полотна. Я знаю, что обладаю некоей внутренней предрасположенностью к общению именно с музыкой, а не с живописным шедевром Боттичелли или древнегреческой скульптурой. Музыка, как ничто иное, близка к Богу.

Я люблю музыку, и мне это состояние нравится. Я признаю в музыке мистическое начало, но это не означает, что я не могу воспринимать её как забаву и развлечение. До недавнего времени я воображал себя знатоком музыки. Повзрослев и став более сдержанным в своих оценках, я полюбил самую разную музыку, особенно ту, что называется «лёгкой венской». Я был настолько глуп, что сравнивал творчество Шопена, Чайковского, с одной стороны, и Баха, Моцарта, с другой, признавая музыку последних лучше. Теперь я понимаю, что они не подлежат никакому сравнению. Музыка — либо прекрасна, либо — нет. Прошло немало времени, прежде чем я оценил и полюбил Ллойд Вебера, музыку «Битлз» как современное искусство, но я ещё далёк от понимания тех песен, которыми восхищаетесь вы, Павлик и Ника. Надеюсь, придёт время и вы поймёте, что эта музыка не вечна; она рождена днём сегодняшним, с ним она и уйдёт. К несчастью, мне пришлось оставить уроки музыки, когда я уезжал в Англию. Я очень сожалею об этом, потому что к тому времени я достаточно хорошо играл на пианино и через несколько лет мог бы достигнуть исполнительского уровня отца. Когда мне было 6 — 7 лет, известный тогда русский вокальный квартет Кедрова выступал у нас в доме с программой русских классических и народных песен. В силу своего возраста я не смог по достоинству оценить их мастерство, но на родителей они произвели впечатление.

В 1913 — 1914 годах родители со старшими детьми жили в Мюнхене, где отец работал над книгой «Предмет знания». Когда в 50-е годы мама поселилась у меня в Мюнхене, она показала мне улицу и дом Клеменштрассе, Грюневальд, где они жили в начале века. Мама вспоминала, как отец, она и дядя Петя Струве ходили в Принцрегентен Опера на оперу Рихарда Штрауса «Кавалер Роз», дирижировал которой Бруно Вальтер. Их места находились сбоку от сцены, и, если верить маминим словам, Бруно Вальтер чаще, чем на сцену и оркестр, смотрел на неё! Я вполне готов верить ей; она была очень красива. Отец находил оперы Штрауса скучными; красота и изящество музыки Штрауса оставили его равнодушными.

* * *

Две наших последних квартиры были в Халензее, на севере граничащим с Шарлоттенбургом, на западе — с Грюневальдом (помните школу?), на юге — с Шмаргендорфом и на востоке — с русским Шенебергом, близким моему сердцу; здесь проходили встречи скаутов, также как и в

здании церкви на Находштрассе; именно в Шенеберге концентрировалась общественная жизнь русских — здесь находилось кафе-мороженое Кирхайм, киоск под названием «mich» («мне»), где продавались пирожки и, может быть, водка, а также здесь был центр русско-еврейской молодёжи. В Шенеберге жили многие мои друзья. В своё время именно отсюда эмигрировали русские семьи во Францию и Югославию. Русский Берлин постепенно исчез под натиском всё возрастающего нацистского влияния. Моим единственным средством передвижения был велосипед, тот самый великолепный велосипед, который я купил благодаря успешной торговле творогом и сметаной. Уезжая в Англию, я отдал велосипед Виктору, который ездил на нём до своего отъезда из Берлина в последнюю довоенную весну.

Я не очень хорошо помню нашу предпоследнюю квартиру, знаю, что находилась она на втором (с точки зрения русских) этаже в Gartenhaus (дом, располагающийся за домом) и была очень тёмной. Улица носила название Хекторштрассе. На углу улицы был молочный магазин (Померше, Майерлин), где обычно мама делала покупки; на другом конце улицы находился овощной магазин. Напротив нашего дома была аптека, а на углу Дамашкиштрассе — небольшой рынок. (Не помню, так ли называлась улица в то время.) Однажды так случилось, что во время игры в футбол на Хекторштрассе мяч попал в витрину магазина. С тех пор я стороной обходил этот магазин, хотя витрина, к счастью, осталась целой и невредимой. Этот эпизод пришёл мне на память, когда спустя 60 лет я вновь оказался в Берлине. Магазина уже не было на том месте, но память сыграла со мной шутку, заставив ожить это воспоминание. Стоя перед несуществующим магазином, я испытывал неловкость и смущение. В первых числах января 1933 (за несколько недель до прихода нацистов к власти) мы переехали на новую квартиру на Несторштрассе, находившуюся недалеко от нашего прежнего места жительства. Мне (но не другим членам семьи) всегда нравились переезды, они нарушали режим нашей повседневной жизни, вызывая некоторый элемент хаоса. Нарушался порядок приёма пищи, постоянно происходил процесс упаковки-распаковки вещей, приводивший к полной неразберихе, в которой долго невозможно было найти нужную вам вещь без помощи мамы, роль которой необычайно возрастала в периоды переезда с квартиры на квартиру. К моему глубокому разочарованию, так привлекавшая меня перемена в нашей повседневности продолжалась не очень долго. Привычный распорядок дня восстанавливался довольно скоро благодаря неистощимой энергии мамы.

Мы поселились на Несторштрассе буквально за 2 недели до смены власти. Виктор и Наташа рассказывали мне, что по дороге домой они видели горящее здание Рейхстага. Нацисты использовали этот пожар (возможно, учинили его сами) как предлог для установления тоталитарного режима правления. Для меня, 12-летнего ребёнка, мало что изменилось; родители восприняли приход нацистов к власти как зловещее повторение русской революции (в несколько ином, не столь кровавом варианте).

Сын нашего привратника скоро вступил в ряды штурмовиков и с гордостью и высокомерием носил коричневую форму. Родители этого молодого человека были порядочными людьми, простыми берлинцами, вероятно, имевшими социал-демократические взгляды. Сын же представлял собой подобие моего школьного учителя (Нойманна). Записавшись в отряд S.A., он перестал здороваться с нами, иностранцами, беженцами, к тому же людьми еврейского происхождения (возможно, этого он не знал). Этому человеку так нравилось ощущать себя хозяином. Каждый раз, проходя мимо их квартиры, я боялся встретить его. Но встречи наши случались довольно часто, так как у него было много работы по дому, до тех пор, пока он не начал маршировать в своей униформе. Вся нагрузка легла на плечи его родителей. Внешне он не выглядел типичным представителем Herrengasse — невысокий, кривоногий, темноволосый; очки с толстыми линзами делали его маленькие глаза ещё меньше. Хохмайстерплатц — огромное поле, позже превращённое в парк, было местом проведения парадов отрядами штурмовиков; здесь же они проводили военные и учебные занятия. Я отчётливо помню, как они бросали гранаты в чучело человека и стреляли в воображаемого врага, кололи штыками манекены. Они производили впечатление людей, безоговорочно верящих всему, что говорили сержанты и офицеры: Германию предали евреи и «Sozis» в Первой мировой войне; немецкая армия не потерпе-

пела военного поражения. Согласно Dolchstoss-Legende*, непобедимую немецкую армию разрушили, не дав одержать военную победу, социал-демократы и способные на всё злобствующие евреи. Всему этому верили те, кто хотел верить в силу немецкого военного могущества. Многие и многие, подобные сыну нашего привратника, маршировали на площади, охваченные жаждой мести за позорный Версальский договор и уверовавшие в своё предназначение отомстить за Германию. Зловещие последствия всего этого не были секретом для тех, кто, подобно отцу, верно оценивал происходящее. Большинство желали новой войны только затем, чтобы на практике осуществить теорию своего превосходства, доказать, что они заслуживают победы над недалёкими французами, самонадеянными американцами и англичанами и Nаваніе Untermenschen (гаванскими недочеловеками). Шовинистическим духом были пропитаны любые выступления этих людей. То, что предстало перед моими глазами на Хохмайстерплатц, было лишь репетицией того, что произошло через несколько лет. К счастью, первые 2 года войны я провёл в Англии, позже мне пришлось воевать против Германии в Алжире, Тунисе, на Сицилии, в Италии, на Корсике, во Франции и Греции. Я воспринимал эту войну как свою, хотя бы только потому, что в полной мере осознал все возможные для человека немецкого происхождения последствия победы нацистов. В отличие от английских солдат, моих товарищей, я непосредственно видел и слышал тех молодчиков, поющих, марширующих, швыряющих гранаты в манекены на площади, олицетворяющих собой зло и потенциальную угрозу. Глубокое впечатление произвели на меня организованные бойкоты еврейских магазинов. Я был свидетелем того, как стоящие у витрин штурмовики не пускали людей в магазины. Требовалось определённое мужество, чтобы попасть в один из таких магазинов, минуя строй нацистов. Мама всякий раз проделывала это, демонстративно произнося с сильным русским акцентом: «Ich bin Ausländerin und ich kaufe wo ich will» («Я иностранка, и покупаю где хочу»).

Браво, мама! Я не обладал её мужеством, как и большинство других. Штурмовиков окружала огромная толпа, хранившая молчание, но явно одобрявшая их действия. Иногда из толпы раздавалось хлопанье, поддерживавшее всё происходящее. Мамина смелость удивляла меня; правда, она была единственной в семье, в чьих жилах не текла еврейская кровь. С другой стороны, её дети были рождены от брака с евреем, а это ставило её в один ряд с теми израильскими неевреями, которых в наши дни палестинцы обвиняют в пособничестве и подстрекательстве. Наташа рассказывала мне, как она слышала бормотание проходивших мимо штурмовиков: «Juedisch? aber huebsch» («Еврейка? Однако хорошенькая»). Случались в то время и примеры проявления настоящего гражданского мужества. Некоторые немцы были искренне расположены к нам, хотя не могу сказать точно, происходило ли это оттого, что мы — русские или оттого, что они знали о еврейском происхождении отца. В течение нескольких лет отец писал статьи, посвящённые русской проблеме, для протестантского журнала в Лемго «Ein Hirt und eine Herde» («Пастух и стадо»); журнал поддерживал с ним отношения, несмотря на его происхождение или именно потому. Пастор Гердер стоял во главе этого объединения, в котором вторую роль играл и пастор Эвербек. Практически это был единственный источник дохода для нашей семьи в те годы. В беседах с отцом они всегда подчёркивали своё неприятие царившей в Германии духовной атмосферы. (В связи с этим я хочу сказать, что отец прислал нас не включать эти статьи в возможное будущее собрание сочинений, считая их написанными ниже своего интеллектуального уровня. Тем не менее, я сделал это и надеюсь, он бы понял меня. То, что они были написаны в период тяжёлого материального положения в семье, будет совершенно очевидным для любого серьёзного исследователя.) Но не все люди, исповедовавшие протестантскую веру, были такими. Главой церкви в Германии нацисты назначили имперского епископа Мюллера, который был известен своими антисемитскими проповедями. В то время был популярен такой политический анекдот:

Христос сошёл с распятия в церкви, где служил Мюллер, и взял за руку богородицу, сказав:

* «Легенда об ударе в спину». После поражения в Первой мировой войне в Германии утвердилось мнение о том, что война была проиграна только из-за начавшейся в 1918 г. революции — отсюда и термин.

«Пойдём, в этой церкви нам нет места».

Учителя, преподававшие нам в школе религию, хранили молчание о еврейском происхождении Иисуса Христа («полубог, полуеврей», как сказал Виктор в одной из своих программ), всячески подчёркивалась его всемирность; причём превозносилось германское начало. (Римляне переселили германское племя на территорию Иудеи, чтобы там был рождён Иисус Христос. Явно политические, а не религиозные причины послужили мотивацией для таких абсурдных псевдонаучных предположений.) Ветхий Завет полностью игнорировался. Подобные антисемитские настроения исходили задолго до появления нацистов от главы Русской церкви в изгнании епископа Тихона, имевшего дурную репутацию (носившего свастику на рясе).

Проявления человеческой глупости, с которыми я каждый день сталкивался в школе, стали столь часты и очевидны в те сумасшедшие годы, что я иногда воспринимал их с юмором. Примеры: Христос и его ученики принадлежали к арийскому племени, которое за несколько веков до появления Иисуса переселилось на Средний Восток с территории современной Германии. Евреи предприняли попытку завоевать это племя, но героизм, присущий всем арийцам, помог им дать отпор натиску ненавистных евреев. Ещё один пример: Христос был предтечей Гитлера, поскольку ему было исторически предопределено появиться в точное время и в точном месте; подобно Христу, Гитлер способен изменить историю и судьбу человечества, спасителем которого ему предназначено быть. В псевдомистицизме нацистских теорий главенствующую роль играл мотив предопределённости. Христу-арийцу было суждено появиться в определённое время, как и Гитлеру, чтобы спасти немецкую расу от порабощения евреями. Другой пример из области биологии: породистая элита сильнее, здоровее, иначе говоря, лучше полукровок (например, полуариец, полуеврей). Нечистокровные люди или собаки потеряли право на существование. История: несмотря на то, что Колумб открыл Америку (этот факт не оспаривался), именно немцы дали цивилизацию вопреки дьявольским проискам евреев. Все важнейшие научные и философские открытия были сделаны немцами. (Сравните, пожалуйста, с аналогичными притязаниями Советов; анекдотично звучали призывы к признанию за русскими всех научных и культурных открытий.) В тех случаях, когда не было доказательств (Ньютон, Ватт, Реомюр), «находились» мамы, бабушки... немецкого происхождения. Таких примеров было множество. Эти вопросы получили более компетентное рассмотрение и были описаны лучше и полнее, чем сделал это я.

Проявление глупости, вульгарности вызывало во мне искажённое, мазохистское чувство удовлетворения. «Я гораздо умнее их. Я уверен в своей правоте, а они вынуждены верить этой чепухе; сделать что-либо я бессилён, несмотря на то, что я знаю об их глупости». Так моими умом и душой завладело ощущение воображаемого превосходства. Уехав из Германии, я стал замечать, что мои ощущения и переживания по этому поводу переместились на уровень подсознания. Время от времени, вопреки моему желанию, они опять возникали во мне с новой силой; я могу всё это объяснить с логической точки зрения. Хотите пример такого нравственного атавизма: я всё ещё не могу не испытывать радости по поводу проигрыша немецкой футбольной команды. Мне стыдно в этом признаваться, но это так.

Папа и мама

Будучи ребёнком, я не мог оценить интеллектуальные способности отца, но я чувствовал его мудрость, данную от природы. Он был просто отцом, всегда готовым, за исключением часов работы или послеобеденного сна, ответить на вопрос, пусть даже глупый, и помочь сделать домашнее задание. Особенно часто я обращался к нему за помощью, когда дело касалось математики и французского языка, который я начал изучать в 15 лет.

Позвольте мне привести выдержку из аттестата зрелости, полученного отцом в 17 лет 4 июля 1894 года по окончании школы, чтобы вы оценили способности отца (это было в городе Нижний Новгород, в Лазаревском институте). (Не забывайте, что 5 — лучшая оценка, 1 — худшая.)

Русский язык — 5,
логика — 5,

латинский язык — 5,
греческий язык — 5,
математика — 5,
физика и математическая география — 5,
история — 5,
география — 5,
немецкий язык — 5 (немецкий знал с детства),
французский язык — 5.

Карьеристом он никогда не был; он просто не мог им быть.

Мне нравились наши прогулки с отцом, во время которых мы любили «пофилософствовать».

Мы вели пространные разговоры о жизни, её целях и значении, о смерти и жизни после неё, о том, что такое личность с философской точки зрения, о звёздах и бесконечности. В наших беседах я, как правило, был стороной вопрошающей, отец же старался подробно и доходчиво объяснять всё то, что интересовало меня. (Если я уже рассказывал о наших беседах с отцом, прошу простить меня за повтор; слишком много они значили и значат для меня.)

Я придумал игру с таинственным смыслом, в которую мы с отцом часто играли. Каждый из нас касался языком ложки и передавал её другому для той же цели. Так происходил обмен нашими «я». Отец становился мною, а я был его «я». Внешне мы оставались сами собой, обмениваясь душами. В моём детском представлении это было настоящим волшебством; изменив своё непостижимое «я», превратиться на время в отца, т.е. стать таким же умным, взрослым. Вот чего я не мог понять, так это его радости по поводу превращения в моё «я». Несмотря на разницу в возрасте, в знаниях, в опыте, моё крошечное «я» было столь же важным и значимым, как и его взрослое, умное «я». Содержанием такого «я» была душа человека, несущая в себе доброту — доброту, а не разум. Согласно правилам нашей игры, мы пребывали в превращённом состоянии до тех пор, пока повторно не касались языком ложек друг друга.

В возрасте 8 — 9 лет я узнал, что отец считал меня интеллектуально одарённым, не лишённым духовных задатков ребёнком, подающим определённые надежды. По мнению отца, я унаследовал его склад ума, а из соединения его природного ума и маминогo благоразумия должно что-то непременно получиться. («Благоразумие», как он чувствовал и понимал, не есть залог успеха.) К сожалению, он горько ошибался. Во мне были заложены от природы задатки, которым не суждено было воплотиться. Ви был единственным из четверых детей, кто действительно унаследовал отцовский склад ума, и его по праву можно отнести к кругу типичной русской интеллигенции, представителем которой и являлся отец.

Позвольте мне попытаться объяснить, что значило понятие русская (смею предположить, что это понятие есть — или было — типично русское) интеллигенция; это значит честный ум, порядочность, жертвенность и чувство ответственности перед самим собой и другими, что абсолютно исключает снобизм и карьеристское отношение к делу. К чертам, присущим русскому интеллигенту, относится и любовь к людям, гуманизм, не совсем верное с религиозной точки зрения обожествление человека. В среде русской интеллигенции считаются неприличными разговоры о деньгах, чрезмерное к ним внимание, хотя материальное положение их всегда было ненадёжным. Помощь друг другу оказывалась по велению души сердца, как нечто само собой разумеющееся. (Русские врачи в Берлине лечили бесплатно, услуги русских адвокатов были бескорыстны.) Быть интеллигентом вовсе не значило иметь университетское образование. Душаю, определённый склад ума и духовность были единственной прерогативой интеллигента. Конечно, подразумевался и интеллектуальный вид деятельности или способности к таковому. Не могу не сказать и об отрицательных моментах, к которым я причисляю ощущение исключительности, принадлежности к избранным кругам. В целом русская интеллигенция сыграла позитивную роль в развитии общества в дореволюционной России. Я горжусь тем, что происхожу из этого круга и близок со многими его представителями. К сожалению, мне недостаёт многого из того, чем обладают эти люди, и я чувствую, что не вправе причислить себя к ним. Познакомившись со многими представителями современной русской интеллигенции и позволив себе провести сравнение, я пришёл к выводу, что за годы губительного господства коммунистических идей

имидж русской интеллигенции претерпел значительные изменения. И всё-таки я придерживаюсь мнения, что такие люди, как Илья Франк, его сын Александр, дочь Глеба Франка Анна, Азадовский, покойный Поливанов, Борисов, Осповат и многие другие, с которыми мне посчастливилось встретиться и подружиться, сохранили в себе то, что позволяет отнести их к этому единственному в своём роде кругу людей. Отец полагал, что лучше всего русского интеллигента можно представить в образе монаха негиллистической религии. Образ интеллигенции подобен монашескому, с его обычаями и распорядком. Только здесь возможно столь беспресловенное соблюдение правил, столь категоричный подход к людям и их поступкам, такая преданность общему делу. Но интеллигент не отказывается от борьбы, он жаждет управлять миром, нести людям свою веру. Он активно любит человечество, в отличие от монаха. Такова была точка зрения отца на проблему русской интеллигенции в годы, предшествовавшие революции.

Отец и Виктор ценили интеллектуальные способности и порядочность человека гораздо больше, чем успешную карьеру или наличие у этого человека денег как таковых. (Вспоминаю мамин рассказ. Сразу после их с отцом свадьбы мама пожаловалась ему, что не хватает денег на покупку шляпы и попросила написать статью, гонорар за которую она смогла бы потратить на приобретение понравившейся шляпки. Он категорически отказал ей, заявив, что не способен написать статью, не будучи погружён в суть предмета.) Отца и брата, в отличие от большинства людей, не интересовали деньги; извлечение выгоды из своей известности ведёт к утрате истинных ценностей. Они (отец в большей мере, чем Виктор, сказало влияние мамы) глубоко верили в божественное предназначение человека на этой земле, в присутствие бога в душе каждого и во всеобщую трагедию, первопричиной которой является греховность человека. Большинство исторических событий, по мнению отца, происходило из-за неспособности человека верно распорядиться свободой выбора, дарованной ему Богом; приняв дар этот, человек злоупотребил им. Отец твёрдо верил, что честность по отношению к самому себе есть обязательное условие самосохранения; этим чувством человек должен руководствоваться в своей жизни. Я убеждён, что, следуя именно этому принципу, отец жил и работал. Отец верил в Бога, рассматривая жизнь как испытание, пройти через которое дано немногим. «Возвращением на родину» называл он смерть и последующую жизнь на том свете. Виктор разделял взгляды отца, но, с моей точки зрения, был лишь бледной тенью отца.

Отец был пессимистом в оценках будущего человечества. Человек, созданный по образу и подобию божьему, столь явно проявил свою несостоятельность, так легко уступил силе зла (невообразимая жестокость, вошедшая в практику в Советской России, почти равнозначная жестокость нацистов, создание атомной бомбы), что отец сделал вывод о грядущем конце жизни на земле не в философском, а в историческом плане. Человек создал технику, способную уничтожить его самого, что и произойдёт, рано или поздно. Но такие мысли ничуть не уменьшали веру отца в божественное назначение человека, предавшего своего создателя. Будучи скромным, отец не интересовался тем, что могут подумать о нём другие. Незадолго до смерти отца мама прочитала ему, что написал отец Василий Зеньковский о выдающейся роли Франка в истории русской философии, причислив его к величайшим современным философам. Отца это оставило равнодушным; он заметил, что Богу виднее.

Тщеславие было абсолютно чуждо характеру отца, хотя он хорошо понимал свои достоинства как философа и ощущал свою богоизбранность.

Полагаю, что отец считал свой талант чем-то незаслуженным, «Божьим даром». Выступая по философским, религиозным, историческим, литературным или политическим вопросам, отец никогда ничего не доказывал. В этом не было необходимости. У него был иной стиль общения; влияние его авторитета было не заметным, но очевидным, что свойственно лишь «избранным». Если кто-то не соглашался с его взглядами, отец, не навязывая своей точки зрения, спокойно и аргументированно убеждал человека. Я никогда не видел его по-настоящему рассерженным (хотя проявление глупости и отсутствие культуры у человека приводили отца в смятение, делали его печальным).

Активную неприязнь вызывали в отце «умные дураки». Когда кто-нибудь из них вступал в спор, отец спустя некоторое время покидал «умного дурака» и уходил читать в свою комнату. Особенно злоеущей отцу представлялась разумная глупость, которая, по его мнению, была в

ответе за все трагедии, выпавшие на долю человека (инквизиция, коммунизм и т.п.). В связи с этим мне вспоминается один случай. Эрнст Шуле — один из студенческих друзей Виктора — был одним из тех, кого в Германии называли «Salon-Kommunist» (на английский я бы перевёл как «сочувствующий»). Эрнст в разговоре о революции настаивал на том, что она была исторически необходима. Отец некоторое время слушал этого молодого человека, пытался даже с помощью аргументов переубедить его, а потом просто ушёл в другую комнату, сославшись на усталость.

Не любил отец и карьеристов, чувствуя в этих людях душевную непорядочность, нечто близкое к нравственной проституции. Самую большую неприязнь («ненависть» в данном случае, чувство нехарактерное для отца) вызывала у него интеллектуальная непорядочность в любом её проявлении. Отец часто замечал, что большинство людей играют роль в этой жизни, стараясь показаться более умными или привлекательными, чем они есть на самом деле. «Игра», как правило, становится второй натурой. Некоторые люди, по рассказам отца, продолжали актёрствовать и на смертном ложе.

Если отец что и ненавидел, так это коммунизм и нацизм. Он считал обе системы виновными в разрушении стран и гибели народов. Эта идеология, её воплощение на практике, подобно дьявольской силе, вызвала к жизни всё то злое и порочное, что есть в человеческих душах. Идея насильственного счастья, идея создания общества, в котором человеку был обещан рай на земле, осуществить которую предполагалось с помощью изменения экономических законов, влекущих за собой перемены и в человеческой природе, — эта идея была ужасно глупой и нелепой. Отец утверждал, что социалисты, уверовавшие в свою способность создать рай на земле, были движимы искажённым чувством любви к человечеству. Когда их цели оказались призрачными, что было неизбежно, они не усомнились в их недостижимости, а обвинили в происшедшем самого человека, которого они хотели осчастливить, но который по каким-то причинам отказался от такого счастья. В порядке вещей для этих людей было то, что попытки достичь утопии привели к наказанию и последующему физическому истреблению тех, кто не пожелал принять грядущее счастливое будущее. Таким образом, в определённый момент каждый революционно настроенный социалист, имевший когда-то возможность воплотить свои идеалы, волей-неволей превращается в кровожадного тирана. Любовь к роду людскому, вдохновенная и направляющая его, неизбежно переходит в ненависть, когда он осознаёт, что задача силой сделать человека счастливым больше не стоит перед ним. (Отец даёт подробное объяснение этому в своей книге «Ересь утопизма». Прочитайте эту книгу в зрелом возрасте.)

Иной подход был у отца к рассмотрению явления нацизма. В основе нацистской идеологии никогда не была любовь. Отец отмечал, что поиск социальной справедливости являлся сильнейшей движущей силой коммунизма. Вспомните коммунистические призывы, обращённые к кругам обеспеченной и политически ориентированной молодёжи, например, к кругам английского высшего общества; примите во внимание, что каждый молодой человек (я — не исключение) стремился, начинал воспринимать социализм как единственно возможный путь её достижения. Если в 20 лет человек не социалист, значит он либо негодяй, либо идиот; если он и в 30 лет остаётся социалистом, он также или негодяй, или идиот. Это один из моих любимых каламбуров.

В идеологии нацизма абсолютно отсутствовала идея исправления существующей несправедливости. Основным её мотивом была ненависть по отношению к тем, кто, в силу своего рождения, не оказался среди избранных. Такова движущая сила любой формы фашизма. Кроме того, отец считал нацизм идеологией недалёких людей, поскольку, как и социализм, но с различной силой, нацизм взывал к низменным инстинктам, живущим тайно в каждом из нас. «Бедная Россия», часто повторял он, «бедная Германия».

Россия, русская литература, русская культура и история, всё, что они несут в себе, отец любил, но спокойно, сдержанно, без сентиментальности. Он часто вспоминал дореволюционную Россию с её экономическими, социальными, духовными особенностями, пытаясь найти объяснение тому, что с ней случилось потом, с точки зрения истории, морали. Триумфальную победу большевистской революции отец считал несчастливой случайностью, не вызванной исторической необходимостью. (Исторические события, по его мнению, в большинстве своём не поддаются никакой логике.)

Из рассказов отца я узнал многое о России до революции. Отец был убеждён, что социальная несправедливость, несомненно существовавшая, была бы преодолена той прежней потенциальной жизнеспособностью России, если бы большевики не отбросили её назад к каменному веку. Внутренние резервы России, нравственные и культурные особенности её народов, по мнению отца, сыграли бы свою роль.

По своим убеждениям, стилю жизни, духовной сущности, отец вне всякого сомнения был русским человеком. Но он никогда не отрицал своего еврейского происхождения, гордился своей принадлежностью к народу, который был избран, чтобы дать людям Иисуса Христа.

Он уже давно был дружен со священником-интеллигентом о. Агеевым и принял крещение у него в церкви в Ларинской гимназии 3-го мая 1912 года.

Когда Семён Людвигович Франк и Татьяна Сергеевна Барцева поженились в Саратове, 22 июня 1908 года (по старому стилю), маме пришлось принять лютеранство, так как православная церковь не допускала смешанных браков. Только в Берлине, спустя много лет, она официально вновь приняла православие.

Папина мать — Розалия Моисеевна — была против свадьбы. Ей казалось, что провинциальная девушка 21 года слишком молода для её сына (отец был почти на 10 лет старше мамы), и, что главное, она бы предпочла девушку еврейского происхождения. У отца уже были некоторые отношения с женщиной (полуеврейкой). Из воспоминаний дяди Лёвы я знал, что бабушка с уважением относилась к отцу и потому приняла его выбор. Мама рассказывала, что в их первую встречу она не преминула напомнить маме об ответственности, лежащей на плечи жены Семёна Франка.

Нельзя сказать, что отец был здоровым человеком. Насколько я помню, он всегда страдал от бессонницы и ему приходилось регулярно принимать снотворное и/или успокоительные средства. Причину этого я вижу в сложной организации его нервной системы. Были у него и проблемы с желудком. По предписанию доктора он каждый день принимал по 2 ложки жидкого парафина. Позже (1938) у него обнаружилась стенокардия; он стал ходить очень медленно; мы видели, как он начал быстро стареть.

Когда мы встретились с отцом в 1944 году в освобождённой Франции, спустя 5 лет после нашей последней встречи в Фонтане-о-Роз, он показался мне стариком, хотя ему было только 67 лет. Я с сочувствием наблюдал, как трудно ему давалось каждое движение. Годы, проведённые в оккупированной Франции, опасность, которой он подвергался в то время, состарили его преждевременно. Не мог он и не переживать по поводу судьбы послевоенной Европы, что также отрицательно сказалось на его здоровье. Наташа высказывала предположение, что постоянное, как правило, преувеличенное беспокойство мамы по поводу состояния здоровья отца психологически повлияло на него, убедив в том, что дела его плохи. Воздержусь от высказывания своего мнения, поскольку не очень разбираюсь в этих вопросах. Одно несомненно — отец был беспомощен и всецело зависел от мамы, коль скоро дело касалось жизненной практики; его кроткий (но не слабый) характер, готовность любым путём избежать конфликтных ситуаций в повседневной жизни позволяло маме самой принимать решения в делах второстепенной важности. С одной стороны, он отлично понимал и верно оценивал своё духовное и физическое состояние, поэтому трудно поверить, что мама смогла бы его убедить в том, что ему хуже, чем это было на самом деле. Но легко могу себе представить, как мама, жалея отца, говорила: «Семёнушка, ты не должен делать того-то и того-то. Ты знаешь, как это расстроит меня...».

Думаю, что совместная жизнь моих родителей была счастливой, достойной восхищения. Мне никогда не приходилось быть свидетелем их ссор, несмотря на то, что было множество причин для их разногласий (в том числе и постоянное беспокойство за Алёшу). Нравственный авторитет отца был столь высок, что мама никогда не ставила под сомнение и даже не пыталась возражать отцу. Конечно, в практических делах отец почти всегда подчинялся решению, принятому женой, и тогда наступал матриархат.

Если бы не мама, отец мог бы погибнуть в Советской России. Энергичные проявления материнской природы продолжались и в период их жизни в оккупированной немцами Франции.

Она призналась нам, и я легко поверил, поскольку это было в мамином характере, что она смогла бы в те годы добровольно объявить себя еврейкой, чтобы погибнуть вместе с мужем.

Позволю себе продолжить воспоминания о взаимоотношениях в нашей семье. У мамы была очень неприятная черта (прошу прощения, но это типично для женщин) — она могла не разговаривать с кем-то часами или даже в течение нескольких дней, когда чувствовала себя обиженной. Хорошо помню её сидящей за обеденным столом с ледяной маской на лице, ведущей разговор с нами, но абсолютно игнорирующую отца. На всех это производило самое неприятное впечатление. Если она прекращала разговаривать со мной — что случалось несколько раз — это было настоящим наказанием. (Если она называла меня «Василий» вместо обычного «Васюта» или «Васик», или «Вася», значит, я чем-то рассердил её.) Если не обращать внимания на эту черту её характера, мама всегда была готова отдать всю себя своей семье; чего стоила только проблема накормить нас. Мама активно старалась помочь другим (отец Григорий Прохоров, Игорь Корнилович Смолич, Ариадна Петровна Диамантиди...): деньгами или анонимными посылками с продуктами. В мои обязанности входило отвозить эти посылки на велосипеде и оставлять их у привратника, строжайше наказывая сохранять анонимность помощи. Мама всегда говорила, что наше окружение, как правило, еврейские семьи (Копельманы, Данишевские, Мария Моисеевна Гуревич, Блохи и другие) были очень щедры в те трудные годы. Хочу напомнить, что русские эмигранты тех лет были бедны в сравнении с нынешними. Деньги, отдаваемые для пожертвований, доставались им чрезвычайно тяжело. Маме одной приходилось устраивать наше довольно сносное существование; язык она знала очень плохо. Благодаря её организаторским способностям и неистощимой энергии, нам как-то удавалось преодолевать те невообразимо сложные препятствия и проблемы, что вставали перед нашей семьёй.

В те годы следовало помнить о смертельной опасности, которая угрожала отцу, еврею, жившему в нацистской Германии. Более того, мы вынужденно оставались советскими гражданами — иначе говоря, наша семья принадлежала к народу, причисляемому нацистами к Untermenschen (недочеловекам). И наконец, у нас не было стабильного дохода. Отец был уволен из берлинского университета и потерял место в Русском Научном институте; деньги он зарабатывал только за счёт написания статей и чтения лекций за границей, что было связано с определёнными трудностями в получении виз. Чтобы хоть как-то обеспечить наше существование, мама восстановила навыки массажистки (она училась этому в студенческие годы; тогда существовала мода на общественно-полезный труд). Виктор и Наташа имели скромный, но постоянный заработок; Алёша всегда давал повод для беспокойства о нём, но он оставил Берлин и путешествовал по миру с балетной труппой. Революция, последующее изгнание лишили нас всего; мы стали никому не нужными, бездомными беженцами. Спустя 11 лет после изгнания из России, в той стране, что стала нам на время домом, произошли страшные события. Во второй половине 30-х годов стало совершенно очевидно, что необходимо уезжать из Германии. (Мне, ребёнку, отъезд казался счастливым событием, благодаря которому я мог бы больше не посещать ненавистную нацистскую школу.) Я часто слышал, что если бы не мама, мы могли бы давно уже погибнуть (быть убитыми или умереть от голода) в те роковые годы. Она обладала удивительной энергией, направленной на достижение, казалось бы, невозможного, и была движима любовью к тем, ради которых она была готова на любые жертвы. Мама относилась к тем «героическим русским жёнушкам», которым суждено было появляться время от времени в истории России и становиться выдающимися личностями.

И всё-таки в мамином характере было нечто такое, что вызывало у нас неприязнь, особенно когда мы стали взрослыми людьми. Она была эгоцентрична (в большей степени, чем эгоистична); её деятельная любовь, казалось, исходит из того, что именно такой вид любви, жертвенной, доставляет удовольствие ей самой. Она настаивала на нашей абсолютной зависимости от неё; мама ревновала нас к нашим жёнам, подругам настолько, что это делало невозможной нашу жизнь вместе с ней в одном доме. Мама не могла примириться с тем, что мы выросли и даже начинали стареть. В последние годы своей жизни, когда она жила со мной, я замечал за ней проявления обычной женской зависти, что удивляло и даже раздражало меня. Её значительность, женское достоинство должны были удерживать её от демонстрации черт, напоминающих мне женщин, с которыми мне доводилось жить и которым было далеко до маминого положения, образования, социального статуса. (Я задавал себе вопрос, а не завидовала ли мама

отцу, его авторитету, окружению, состоящему из поклонниц.) Мама возражала против разрыва родственных уз (речь шла о нас). Её сущность восставала против неизбежного разрыва, который характерен для взаимоотношений между детьми и родителями. Так или иначе, она не могла простить Алёше то, что он жил иной жизнью, в окружении поклонниц. Мама считала несправедливостью (чьей? Бога?), что у такого отца должен быть именно такой сын, более того, относила это к трагической и незаслуженной ошибке творца. Были и такие моменты во взаимоотношениях мамы и Алёши. Должен сказать, что мама была трудным человеком; причина этого крылась во множестве её достоинств. При всех своих достоинствах и недостатках она, несомненно, была удивительной женщиной.

Вот что мне хотелось рассказать вам о маме, об её участии в жизни каждого из нас (включая отца).

Отец был довольно медлительным человеком. Правда, как он рассказывал мне, в юности он занимался «спортом», но довольно странным видом — догонял на улице прохожих. (Любовь к спорту я, наверное, унаследовал от мамы; отца я не мог даже представить себе делающим спортивные упражнения или просто физическую работу; во время прогулок он, правда, быстро ходил.) Отца нельзя было назвать красивым, но он был высокого роста, обладал хорошей фигурой — прямая осанка, длинные ноги. По рассказам мамы, на пляже отец пользовался повышенным вниманием у женщин, что, однако, не производило на него никакого впечатления. Самым замечательным во внешности отца были глаза, взгляд которых был обращён внутрь, будто бы отец стремился рассмотреть движения души. Можно сказать, что он видел предвечного бога, кого он считал «другом», нашедшим обитель в его душе. «С юношеских лет меня мучила мысль о том, что есть мудрость. Осознав невозможность её достижения, если только Бог не дарует её мне, я пришёл к Богу», — приблизительно так звучало одно из его любимых высказываний. Эта мысль изложена на старославянском языке на надгробном кресте могилы отца на кладбище в Хендоне. Отец очень много курил; его часто можно было видеть с сигаретой. За несколько месяцев до смерти он бросил курить, объяснив, что курение, как и пища, отвлекает его. Думаю, что его отвращение к никотину и пище было вызвано сознанием приближающейся смерти: «возвращение на родину», как называл отец окончание жизненного пути. «Одурел» — было последним словом, которое отец произнёс, в последний раз придя в сознание, после чего он скончался. Случилось это днем 10 декабря 1950 года. Рядом с ним были все члены нашей семьи, кроме Алёши и меня (я был в Австрии). Последние дни перед смертью отец отказывался принимать морфин, чтобы облегчить боли, мучившие его перед концом. Только в самый последний день он попросил врача сделать ему укол. Доктор Беркла-Вей говорил нам, что никогда раньше не встречался со столь настойчивым отказом пациента снять боль с помощью инъекций. Отец был против всякой «химии», нарушавшей, как он считал, естественный процесс ухода из жизни. Он с радостью ожидал возвращения на свою родину, желая встретить этот момент во всеоружии своих интеллектуальных и духовных сил. Удивительная смерть; естественный и закономерный конец его жизни. Моё стремление как можно полнее представить картину духовной жизни отца, думаю, может послужить оправданием такого экскурса в прошлое.

Ви и Алёша

Когда 25 июля 1920 года я появился на свет, Виктору было 11 лет и 3 месяца, а Алёша приближался к своему десятилетию. Виктор, по просьбе родителей, стал моим крёстным, что было очень разумным решением, поскольку в то время всякое могло случиться с родителями. Революция, гражданская война не исключали ни для кого возможности погибнуть, умереть от голода, исчезнуть. Красные, заняв тот или иной населённый пункт, начинали вешать тех, кто выжил при белых, и наоборот. Отец и мама вспоминали, что и они не раз подвергались такой опасности. В 1921 году отец (и все мы) благополучно вернулись в Москву, избежав гибели и всех ужасов гражданской войны в провинции. Предполагалось, что в случае смерти родителей Виктор, мой крёстный отец (крёстной матерью мне стала бывшая мамина учительница француз-

ского языка из Саратова), должен был взять на себя ответственность за мою жизнь. Рассказывали, что на церемонии обряда крещения у Виктора было распухшее лицо, потому что всего несколько дней назад он упал с крыши дома, угодив прямо в заросли крапивы. Оказалось, что братья играли в войну; они, сняв рубашки, сражались с красными, вообразив своих врагов в виде кустов крапивы. Героическая борьба неизменно оканчивалась их поражением, но они страшно гордились своими многочисленными ожогами.

Свидетельство о моём рождении было написано на немецком языке, так как родился я в немецкой деревне. Так случилось, что в те грозные годы у администрации были только бланки свидетельств о смерти, поэтому слово «Todesurkunde» («Свидетельство о смерти») было перечёркнуто, а вместо него написано «Geburtsurkunde» («Свидетельство о рождении»); заменили «Gestorben» («умер») на «Geboren» («родился») и «Begraben» («погребён») на «Getauft» («крещён»). Я должен был предъявить это странное, в каком-то смысле уникальное свидетельство в берлинской школе, где оно было оценено. Это имело неожиданные последствия: пока не было установлено моё неарийское происхождение, нацисты считали меня Volksdeutscher, тем более с такой фамилией, как моя. Моей реакцией был яростный протест.

В детские и юношеские годы моё отношение к Виктору было особенным. Он был для меня кем-то вроде мини-папы или Ersatz-Papa. У меня всегда находилась масса таких вопросов, которые я бы не отважился задать отцу, а Виктора мне было не стыдно. Вопросы эти часто были связаны с моей пробуждающейся сексуальностью. Виктор, например, предупредил меня об опасности заразиться венерическими заболеваниями; он также пытался смягчить те специфические и часто трагические ситуации, в которые попадал русский подросток, живущий вне своей родины. Любовь к России, её истории и культуре не должна была иметь ничего общего с жестокой реальностью Советской России, о которой я слышал только с чужих слов. Невероятно трудно было эмоционально постичь всё это. Воспитанный в духе любви к России, я очень болезненно воспринял необходимость делить её на Россию реальную и Россию, прошедшую через насилие.

Виктору было 13 с половиной лет, когда мы были изгнаны из России. Он и Алёша (ему было на год меньше) многое успели впитать в себя, на всю жизнь сохранив духовные, культурные особенности нашей родины. У меня же не было такой возможности на опыте понять, что есть Россия. (Нам с Наташей судьбой было уготовано увидеть Россию, узнать её и печалиться о ней уже в старости. Хочется думать, что моя преданность России таким образом была вознаграждена.)

Именно Виктор научил меня ценить классическую русскую литературу. Он любил читать вслух, и это случалось довольно часто, не только во время моей болезни, когда я неделями лежал в постели. Когда Виктор изучал историю в берлинском университете, он рассказывал мне интересные эпизоды из истории покорения Сибири, Кавказа. Я гордился тем, что именно русские, преодолев Берингов пролив, достигли Калифорнии и Мексики. В моём детском воображении отважные русские представлялись мне бегунами, развившими наивысшую скорость и продолжавшими бежать уже по инерции. Я узнал и о жестокости русских, и о той пользе, что приносило с собой местным народам их пришествие. Стремился Виктор к этому или нет, но ему удалось возбудить и усилить мой патриотический дух. Мучительно трудно ощущать себя русским, зная сложную трагическую историю России, её горькую судьбу, прямыми или косвенными свидетелями и жертвами которой мы являемся. Я буду всегда благодарен брату за то, что он помог мне прийти к осознанию во многом спорной, но уникальной и в то же время трагической роли России в истории. Ощувив себя частичкой этой истории, я понял, что волею судеб стал тем, кем я был — эмигрантом. Я был, если можно так сказать, невольным свидетелем и жертвой тех исторических событий, что заставили нас жить невероятно далеко, во всех смыслах, от страны, которую я считал своей родиной.

Поселившись в Англии, я получил на Рождество подарок от Виктора, который я сохранил до этого дня: тетрадь со стихами Александра Блока, посвящённую трагической судьбе России во времена татарского нашествия. Стихи были написаны каллиграфическим почерком. Он писал:

Берлин, 24. 12. 38

Дорогой Вася, вот тебе ещё один подарок: несколько стихотворений Блока о России. Я их недавно «открыл». Даже если ты их уже знаешь, не мешает их иногда перечитать. Они немного туманны (кое-какие слова я объясняю в примечаниях), но, по-моему, очень годны для одиноких вечеров в Лондоне, Париже, Берлине и т.д. и т.д.

Целую тебя. Твой Ви.

В конце письма значилось: «А под конец одно чудное английское стихотворение Стивенсона. Если так лет через 35 — 40 я умру до тебя, то ты последние три строки выгравируй на памятнике. Слушай!

*Under the wide and starry sky
Dig the grave arid let me lie
Glad did I live and gladly die
And I laid me down with a will.*

*This be the verse you grave for me:
Here he lies where he longed to be;
Home is the sailor, home from the sea,
And the hunter home from the hill».*

Спустя 34 года его не стало, просьба его осталась невыполненной, частично потому, что во время своей болезни, перед смертью Виктор попросил меня сделать следующую надпись на памятнике: «Да будет воля Твоя». Прости меня, Ви!

Наши взаимоотношения складывались постепенно. В мои детские, юношеские годы — годы жизни нашей семьи в Берлине — он для меня был больше, чем просто старший брат. Когда Виктор учился в университете в Праге, в своих письмах я обращался к нему не иначе как: «Дорогой брат, отец и друг», кем он в действительности и был; именно он, никто другой, научил меня любить Россию. Особое чувство благодарности я испытывал по отношению к брату ещё и потому, что он познакомил меня и дал мне верные ориентиры в мире русской поэзии. Помимо классиков (Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета и др.), я ценил Гумилёва, Анну Ахматову, Есенина, чьи произведения читал мне Виктор. В стихах Гумилёва меня привлекала их особая мужественность и мистические мотивы, Ахматову я любил за поэтический романтизм, а Есенин был мне близок искренним чувством любви к России. Многое я знал наизусть.

Виктор любил читать вслух. Во время нашего пребывания в немецком посёлке — я был тогда совсем маленьким — он перечитал нам все книги русских авторов, какие только можно было найти в деревне. К концу своей жизни, когда мы оба жили в Мюнхене, Виктор не оставил своего любимого занятия и прочёл несколько книг свсей подруге, англичанке. Иногда доводилось и мне послушать его чтение на английском.

Трагично сложилась судьба Виктора; через несколько лет после войны неожиданно умерла его жена Лорна; в детском возрасте умерла от астмы его падчерица Анна; потерял он и свою вторую жену, Марию. Всё это не могло не сказаться на его характере. Складывалось впечатление, что он превратился в отшельника, отгородившегося ото всех. Та непосредственность, что отличала наши взаимоотношения, казалось, исчезла безвозвратно. Общение с ним стало причинять боль; разговор протекал с видимым усилием и напряжением; не осталось и следа от той лёгкости и естественности, что были характерны для прежних лет. Виктор стал напоминать улитку, прятавшуюся в свой домик при чьём-либо приближении; правда, быстрота, с которой он прятался в свой «панцирь», зависела от того, насколько близок бывал ему тот или иной человек.

Одной из причин перемены в его характере, возможно, стала его неудачная женитьба во второй раз, на Марии (матери Анны). Эта женщина пользовалась его великодушием, несколько старомодными взглядами на вещи. (Пусть она простит мне такое отношение к ней.) Насколько он был несчастлив с ней, я понял, когда после её смерти он абсолютно переменялся; произошло его возвращение к самому себе прежнему. У него появилось желание учиться управлению

машиной, он стал строить планы на будущее, собирался найти квартиру в Лондоне, где он должен был поселиться (вместе с приёмной дочерью, которую звали Миранда) после выхода на пенсию в 1974 году. По мнению его коллег, на Радио «Свобода» Виктор был «персона грата», он мог продолжать работать там ещё многие годы. Это было вполне вероятно, так как Виктор был единственным профессиональным русским журналистом на Западе, более того, он был высококультурным, образованным человеком, интеллигентом в полном смысле этого слова (в его русском значении).

Виктора не стало 2 сентября 1972 года. Казалось бы, он абсолютно вылечился от серьёзного заболевания, мучившего его около пяти месяцев. С ним случился удар с последующим параличом левой стороны тела, он не мог двигаться, не мог говорить; только шептал. Я воспринял это как подсознательное стремление организма (позже Виктор в письме к Наташе говорил о загадочном «Х», управляющем и координирующем борьбу с врагом — болезнью) сохранить уходящую энергию. Викторе провёл в больнице почти 2 месяца. Всё это время я был с ним, стараясь отдать ему всё то внимание, заботу и любовь, которую он заслужил. Я знал, что всё это так необходимо брату, и выполнял свой долг с радостью. Так неожиданно возобновились наши прежние близкие отношения, что для меня было величайшим даром. Он поправился, вернулся из больницы домой; в Мюнхен приехали Миранда и Сюзанна, которая была с девочкой, пока Виктор не уехал в Англию. Проведя пару недель в одном из отелей Борнмута, он скончался сидя за столом в своем любимом Реформ Клубе.

Не странно ли, что смерть настигла обоих братьев одинаково, в положении, когда они сидели. Да ниспослёт мне Господь столь же лёгкую смерть! «Непостыдную и безболезненную кончину, молим Господа.»

Болезнь Виктора сопровождалась душевными переменами в нём. Взгляд стал добрее, улыбка его говорила о том, что он познал нечто действительно важное, непреходящее. Не раз он повторял нам, что только теперь понял божественную мудрость слов «Да будет воля Твоя». Когда душа его блуждала меж двух миров, реальным и тем, другим (он называл это «анфилада»), казалось, ему открывалась божественная истина «доброты» (нет в английском языке варианта, адекватного переводу). Виктор считал, что, не имея духовного ориентира, нельзя понять такие строки Гёте:

Nicht an die Gueter haenge dein Herz,
Die das Leben vergaenglich zieren.
Wer besitzer, der lerne verlieren,
Wer im Glueck ist, der lerne den Schmerz.

Удивительным, даже сверхъестественным кажется мне то, что Виктор и Алёша, каждый по-своему, испытали равные по силе и глубине душевные перемены. Они каким-то необъяснимым образом, на подсознательном уровне (говоря сухими терминами языка живых существ) ощущали приближение смерти и смогли прийти к осознанию того, что любовь, нежность, доброта, детски чистое и искреннее понимание Бога и вера в него, — единственное, что действительно имеет значение.

Ви было что терять, но он понимал, что вещи материальные есть наименее важное из того, чем может владеть человек. Алёша же не имел буквально ничего и сделал для себя тот же вывод.

Виктор, по его желанию, был похоронен вместе со своей первой женой Лорной в Хайгейте. Могила Алёши находится рядом с папиной в Хендоне; там же покоится и мама. Она умерла в 1984 году в возрасте 98 лет, когда уже в живых не было её мужа и двух сыновей.

* * *

Алёша был красивым, высоким и сильным. Отец считал, что он был слишком хорош, чтобы это могло пойти во благо ему. Когда я был маленьким, я ужасно боялся всяких грабителей, разбойников и коммунистов, но был совершенно уверен, что ничего плохого не случится, пока

рядом Алёша. Алёша, конечно же, всех победит и спасёт меня. В то время скорее он, чем Виктор, был моим героем.

Так сложилось, что Алёша всегда был причиной всех волнений и тревог для своих родителей. Я думаю, отец отдавал себе отчёт о том, что мало что может изменить «цыганский» (как он называл) характер сына, в котором абсолютно отсутствовало чувство ответственности. Алёша не был способен ходить в школу каждый день, а потому родители даже и не пытались зачислить его в немецкую школу. Несколько лет Алёша посещал русскую Масинг-школу в Берлине. Когда ему исполнилось 14 лет, стало очевидно, что дальше учиться бесполезно, и он пошёл учеником на автомобильный завод «Адлер». Отсутствие силы воли сказывалось даже в том, что он не мог себя заставить вставать по утрам. Я хорошо помню, как тщетно мама пыталась поднять его с постели. Довольно скоро Алёша был уволен, устроился на работу в другом месте, но и там в результате последовало увольнение. О нём можно было сказать — «юродивый»; счастлив лишь оттого, что живёт как «птичка божья», говоря словами Пушкина. Алёша абсолютно не думал, не заботился о последствиях своих поступков, будущее ему рисовалось весьма далеким. Краткий миг настоящего — вот что действительно имело (подсознательно) для него значение. Все эти черты и чёрточки характера делали брата довольно привлекательным, потому что в основе всего лежала беззаботная «непосредственность», наслаждение жизнью в каждый её момент. Он жил одним днём, не заботясь о будущем.

После нескольких неудачных попыток устроиться на работу Алёша попал в цирк, где неожиданно для всех и для него самого обнаружил удивительные способности. В 1928 или 29 году он был принят в знаменитую школу балета Эдуардова на Калькройштрассе (кто за него платил? Возможно, это делали родители, пока в этом не отпала необходимость). Со временем он стал искусным танцором. В доме на нашей улице Алёша снимал комнату, за которую платила, конечно же, мама (возможно, из денег Алёши), потому что у него деньги долго не задерживались. Когда они у него появлялись, он не мог найти себе места, пока не потратит их все, главным образом на других. Хорошо помню комнату, где он жил, и его хозяйку, фрау Циффер. Однажды, когда я зашёл навестить брата, — с ним было так весело — фрау Циффер угостила меня яблоком. В конце того же месяца Алёша получил для оплаты счёт за квартиру, к которому была добавлена одна марка со следующим пояснением: «Одно яблоко для вашего брата».

Ещё один эпизод приходит мне на память. Как-то раз я свистом подозвал брата к окну и попросил у него 10 пфеннигов на мороженое. Он бросил мне монетку на мостовую, потом неожиданно посыпались монеты ещё и ещё, с условием, что я смогу их поймать, пока у меня в руках не оказалось что-то около пяти марок — в то время огромная для меня сумма. С появлением его подруги я был изгнан.

Когда Алёша принимал участие в мюзикле «Das weisse Roessel» (Белый Конь (шахматный)), который поставил Эрик Чарл, он несколько раз брал меня с собой в театр (был ли это Шиффауердамм?); я часто заходил к нему в гримёрную, где познакомился с настоящими «звёздами» — немецким евреем Зигфридом Арно, который потом эмигрировал, узнал Тамару Десни и молодого баварца, исполнявшего одну из главных ролей в оперетте — его звали Юстл Бэйерхаммер. Он стал настоящей звездой. Моим другом стал Александр Свэн, удивительный танцовщик. Когда я встречал его, он приглашал меня на ланч или в кафе-мороженое. Узнав о том, что он гомосексуалист, я перестал видеться с ним.

Перед тем как Алёше предстояло отправиться в турне с балетной труппой, мама попросила Александра (не зная о его склонностях) присмотреть за её сыном: «Ich moechte Ihnen gerne ein Kind (Alyoscha) schenken» («Хотела бы подарить вам ребёнка»), не подозревая о том, какой скрытый смысл таит эта фраза на немецком языке. В 1953 году мы встретились с Александром в Афинах. Александр всё ещё восхитительно танцевал на сцене. Прежнего интереса ко мне у него уже не было, и на этот раз я смог позволить себе угостить его (и его друга) обедом. После постановки «Weisses Roessel» Алёша танцевал в оперетте Оффенбаха «Прекрасная Елена», которую поставил всё тот же Эрик Чарл в одном из шикарных театров на Курфюрстендамм. Позже я узнал версию возможной причины его увольнения. В первом акте сразу после увертюры на сцену был внесён деревянный ящик, из которого появилась статуя греческого бога.

Археологи приступили к исследованию, но вдруг статуя ожила и начала танцевать. В тот роковой вечер Алёша немного выпил перед спектаклем и заснул, находясь в коробке. Проснувшись и обнаружив себя в самом центре сцены в лучах света прожекторов, он вдруг перекрестился (!). После короткой паузы, вызванной его замешательством, он начал танцевать.

Так был положен конец карьере балетного танцовщика в Берлине. У брата был роман с русской танцовщицей, довольно популярной в те годы. Звали её Ксения Десни (сестра Ивана Десни). Думаю, что она очень любила брата; когда по его просьбе я позвонил ей после отъезда Алёши из Лондона, она была очень расстроена, услышав по телефону мой голос, а не голос брата.

Алёша был талантливым артистом; у меня хранятся фотографии, на которых он и берлинская прима-балерина Сабина Росс танцуют вместе в сценических постановках. Некоторое время брат входил в балетную труппу, в которой танцевала другая прима — Рут Хирш (еврейка). На Курфюрстендамм в витрине одного из популярных фотографов была выставлена фотография этой женщины. Однажды вечером Алёша, разбив витрину, украл её фотографию. Его арестовали и приговорили к штрафу по возмещению нанесённого ущерба. Бульварная пресса, подхватив сообщение об этом происшествии, «раздула» из него сентиментально-романтическую историю: «*Veriebter junger Russe stiehlt Photo seiner Angebeteten*» («Влюблённый молодой русский крадёт фото своего кумира») или нечто подобное. Рут Хирш этот случай сделала дополнительной рекламой, насколько я помню, она сама возместила ущерб и пригласила брата на ужин.

Репутация Алёши была окончательно подорвана; греческий бог в его исполнении, осеняющий себя крестом, — такого ещё не бывало. Алёша уехал в Париж, где был принят в балетную труппу Монте Карло де Базиль (или это был Войцеховский). Он никогда не танцевал ведущие сольные партии возможно потому, что не был достаточно талантлив для этого, но, скорее всего, потому, что был слишком ленив. Алёше удавались характерные роли в постановке «Князя Игоря», «Петрушки», «Щелкунчика». Преподаватель Эдуардова считала, что красивая внешность брата — его ценнейшее качество.

Во время поездки в Австралию в 1935 — 36 гг. Алёша познакомился со своей будущей женой, Бетти Скорер; брат Бетти Поль стал мужем Наташи. Бетти танцевала на сцене под псевдонимом Елизавета Суворова. По возвращении в Европу она получила наследство и приобрела участок земли на Лазурном берегу в городке Ла Фавьер, где жили многие русские (Метальников, композитор Гречанинов, Оболенский и др.). Построив на участке два небольших домика, они обеспечивали своё скромное существование за счёт содержания пансиона для англичан (Алёша часто проматывал получаемые деньги). Мама, отец и Наташа после отъезда из Берлина некоторое время жили у брата. После начала войны пансион Бетти перестал функционировать, и они остались без средств к существованию. В 1941 году Бетти вместе с матерью (до войны не пропускавшей ни одной театральной премьеры в Лондоне) и дочерью (Маруся родилась в 1940 году) вернулись в Англию (через Португалию). Алёша, не будучи британским подданным, не смог получить визу в Англию и всю войну оставался во Франции, как и родители. Отъезд Бетти в Англию положил конец их семейным отношениям. Родители полностью возлагали вину за это на Алёшу. Брат не был создан для спокойной обыденной семейной жизни.

Получив серьёзное ранение в 1944 году в октябре месяце, Алёша приехал в Англию, но Бетти больше не хотела иметь с ним ничего общего. Самолюбие его было оскорблено; до сих пор он оставлял женщин, а теперь был брошен он сам.

Алёша и его романы. Как я уже говорил, Алёша был высок ростом, несомненная сила, тёмные волосы, прекрасные черты лица; он играл на гитаре и в цыганской манере исполнял цыганские и русские песни. Он пел под Вертинского, Лещенко, Морфесси, причём делал это превосходно. Его особая для женщин привлекательность таилась в романтической беззрелости. Пожалуй, ему ни разу не пришлось добиваться женщин. Они искали его расположения. Уверен, что Бетти женила его на себе; он был слишком ленив или не хотел дать себе труд заняться столь тривиальным делом. Не могу сказать, что верность жене, другой женщине были отличительной чертой брата, да и любил ли он кого-нибудь вообще. Иногда им владело искушение, иногда женщина брала инициативу в свои руки, и он уже не думал о возможных или вероятных последствиях.

Сила воли со знаком «минус», как называл это отец, определяла эмоциональное состояние Алёши. Он жил одним днём, не будучи способным правильно оценить последствия. Получая удовольствие от каждой минуты жизни, Алёша, в отличие от обычного человека, не умел делать верных выводов из своих поступков. Удивительно, как он смог избежать тюрьмы, поскольку в его характере абсолютно отсутствовал фактор, удерживающий от совершения поступков, наказуемых обществом. Может, просто повезло?! На память мне приходит следующий случай. Алёша после войны жил в Англии. Он довольно часто встречался с русскими друзьями, которые приглашали его на обед или ужин. В один из таких визитов на стол подали гуся. Когда после обеда хозяева легли отдохнуть, Алёше ещё захотелось полакомиться гусём, он отправился в кладовую, и скоро от птицы ничего не осталось. Ему стало так стыдно, что он тут же убежал и больше в этом доме никогда не появлялся. Кажется, довольно яркая иллюстрация того, что брат был абсолютно не способен задуматься о том, к чему могут привести его поступки. Отец верил, что помимо внешности Алёша обладает каким-то особым «талантом», делающим его столь популярным у женщин. Если бы он руководствовался здравым смыслом и больше думал о себе, он мог бы жениться на богатой женщине и жить безбедно. Но, к сожалению, его неудачная женитьба была вполне типична для него, как и закономерный итог его семейной жизни.

В детстве Алёша был для меня героем, и я страстно желал совершать столь же отчаянные и безрассудные поступки; хотел, как и он, не заботиться о деньгах или о соблюдении светских приличий, которые, я думал, сковывают личность цепями условностей. В действительности же я ошибался, считая, что его романтическая беспечность, желание нарушать запреты идёт от его активной жизненной позиции. Потом я понял, что всё это объяснялось его «отрицательной силой воли». Он просто не мог быть «нормальным» человеком, но не в силу каких-то экстраординарных способностей, а лишь потому, что был лишён того нравственного начала, делающего обыкновенного человека обыкновенным.

В своих детских чувственных фантазиях я завидовал Алёше и мечтал о той любви, что дарили ему женщины. Иногда его знакомые заключали меня в объятия, целовали, потому что я напоминал им брата. Однажды мы гуляли с ним по Берлину и встретили симпатичную молодую немку, шедшую нам навстречу. Алёша сказал, что женщина должна непременно оглянуться, когда мы разминемся с ней. Так и случилось. Тот факт, что он не потрудился дать дальнейшее развитие этому происшествию, говорил о его пассивном отношении ко всему. К чему беспокоить себя, не в последний раз.

Мама рассказала мне о двух случаях, имевших место во Франции, сначала оккупированной итальянцами, затем — немцами, доказывавших его беспечность, неспособность правильно оценить последствия, которая на этот раз граничила с глупостью. В Ла Фавьер оккупационными властями был организован митинг, на котором Алёша решил посвистеть, чтобы таким образом продемонстрировать своё несогласие с выступавшими. Мама уверяла меня, что при подобных обстоятельствах русский военный немедленно выстрелил бы в свистевшего. Когда в 1943 году они ехали поездом из Южной Франции в Гренобль, где прятался отец, Алёша в разговоре с немецкими солдатами позволил себе рассказать антинацистские анекдоты. Отец в это время находился в соседнем вагоне.

Алёша добровольно вступил в ряды французского движения сопротивления, откуда, спустя несколько месяцев, вышел. Вероятно, он не мог вынести строгой дисциплины или не чувствовал себя способным подниматься рано утрами.

Во время одного из рейдов по выявлению лиц еврейского происхождения, проводимых немцами в Гренобле, Алёша был подвергнут осмотру, после которого его отпустили, так как он не проходил обряд обрезания. Парадоксально, но это и спасло отца: он был отцом необрезанного, значит, не евреем.

Свобода пришла в 1944 году, когда появились американцы. Алёша добровольно вступил в американскую армию, где ему выдали форму и винтовку. Очень пригодилось ему знание языков — английского, французского, немецкого. Вскоре джип, в котором находился брат, подрывался на mine близ Эпиналя и брат был серьёзно ранен. Потеряв два пальца правой руки, Алёша уже не смог играть на гитаре; другой осколок прошёл через правый глаз и остался в мозге. В

американском военном госпитале Алёше была сделана операция, что спасло ему жизнь. После всего случившегося сильно проявились негативные черты его характера. Мама навещала брата в госпитале.

Американцы не знали, как дальше поступить с братом, и решили репатриировать его в Советский Союз; Алёша при каждом удобном случае подчёркивал своё русское происхождение, а американцы отличались политической близорукостью. Алёшу спасло вмешательство Густава Кульмана. Из Франкфурта-на-Майне Алёша послал телеграмму в Лондон родителям: «Меня посылают к тёте Марусе» — мамина сестра Маруся осталась в России. Вмешательство Кульмана было успешным, и Алёша вместо Москвы оказался в Лондоне. Все попытки получить пенсию как воевавшему на стороне Америки были тщетны, поскольку официально Алёша не был зачислен в вооружённые силы США. Элеонора Рузвельт уделила внимание этому делу, но даже её вмешательство не принесло желаемых результатов. В конце концов Алёша стал получать пенсию от немецкого правительства.

Жизненные обстоятельства складывались всё хуже для него; нам же нужно было общаться с ним, особенно от этого страдала мама. У неё не хватало ни сил, ни времени понять его физическое и психологическое состояние, изменить которое было невозможно. Она упрашивала, умоляла, требовала от него то, на что он был неспособен. Алёша старел, становясь всё более полным и лысеющим человеком, от прекрасной внешности не осталось и следа. Он постоянно нуждался в помощи, моральной поддержке, внимании и участии, поскольку сам о себе заботиться не мог. И тем не менее, он переносил всё: физическую боль и признание своей жизни как неудавшейся. В душе его рождалась наивная, почти детская, но глубоко прочувствованная вера.

В последние месяцы (возможно, годы) своей жизни Алёша был всё также сложен в общении, этот 90-килограммовый ребёнок, имеющий проблемы с алкоголем (спиртное было запрещено, потому что ранение в голову стало причиной эпилептических приступов, провоцируемых алкоголем), но он стал открывать в себе удивительно трогательное чувство доброты. Алёша часто говорил: «Моя душа ликует — Господь со мной». Эти слова можно прочесть на надгробном памятнике на могиле брата в Лондоне, где он был похоронен, рядом с могилой отца. Дарует ли мне Господь возможность быть погребённым вместе с ними, в семейной могиле.

Алёша скончался 9 января 1969 года в возрасте 58 лет. Произошло это в Мюнхене, в квартире, где я жил тогда; хозяйкой квартиры была Галина Митина. Алёша был мёртв, а недокуренная им сигарета продолжала дымить, и на подносе стояла чашка ещё не успевшего остыть чая. Мы сидели за столом и завтракали, когда я вдруг заметил, что он закрыл глаз (свой единственный глаз) и по телу его пробежала дрожь. Я рукой поддержал его голову, чтобы он не ударился о стенку. Дрожь прекратилась. Живущий рядом с нами доктор констатировал смерть. Ни он, ни я не ждали этого; его последние слова были: «Когда ты вернёшься с работы?».

Непонятым, даже сверхъестественным кажется мне то, что смерть настигла обоих моих братьев, когда они переживали равные по глубине душевные метаморфозы. Да ниспошлет мне Господь тот же дар, пусть незаслуженный. Не могу не поделиться, что такое духовное перерождение даруется тем, кто заслужил это (не в общепринятом обыденном смысле этого слова). И Виктор, и Алёша ощущали приближение своей смерти; сошедшее на них озарение привело их к осознанию того, что любовь, нежность, доброта, детски чистое и искреннее понимание Бога и вера в него — единственное, что действительно имеет значение в этой жизни и в последующей.

Мама называла Виктора Дон Кихотом. Виктор, несомненно, обладал интеллектуальными способностями, был духовно близок отцу, но в молодости его часто постигали неудачи. И только в начале войны, став сотрудником Би-Би-Си, он начал постепенно продвигаться по служебной лестнице. Скоро Виктор возглавил русский отдел Би-Би-Си. В период работы на Радио «Свобода» таланты Виктора получили должную оценку. Он стал настоящей звездой на мюнхенском радио. Написанные им статьи по русской литературе и сегодня остаются выдающимися работами. Сын Пастернака, Евгений, рассказывал Наташе, что самое сильное и глубокое впечатление из всего написанного об отце оставила статья, автором которой был Виктор Франк. К сожалению, брату не удалось закончить свою книгу, посвящённую Пастернаку.

Можно говорить о трагическом факторе, присутствовавшем в его жизни. «Смерть окружает меня». Он заслуживал иной судьбы; последние месяцы своей жизни (период после его болезни) он познал истинное значение жизни и смерти и в полной мере осознал значимость этого открытия. Да упокой, Господь, душу его.

Когда Виктор выписался из больницы и находился в санатории близ Мюнхена (я часто навещал его там, иногда со мной приезжала мама), стали заметны происходившие в нём духовные, эмоциональные перемены. Он становился другим человеком в эмоциональном плане; исчезли его прежние напряжённость и «недоступность», с ним стало легко и приятно общаться. Во время болезни Виктор бросил курить — «Мне это не нужно» — но вернулся к этой привычке, когда стал выздоравливать. Я заметил ему, что довольно глупо курить, когда не чувствуешь в этом необходимости, не зная тогда и не понимая, что это были последние дни его жизни и он был прав в своём стремлении насладиться ими.

Наташа

У нас с Наташей всегда были близкие отношения, но я не могу сказать, что её влияние на меня было равнозначно влиянию братьев. С самого моего рождения она заботилась обо мне, став, по существу, моей второй матерью, что, несомненно, должно было оказать на меня некоторое психологическое воздействие, но это было в очень раннем возрасте, когда я был малышом, только начинавшим ходить. Влияние братьев начало сказываться в том, что им удалось привить мне любовь к футболу и научиться хорошо играть в него (для меня это было чем-то большим, чем просто занятия спортом, это был способ заявить о себе в чуждом мне окружающем мире). Виктор и Алёша оказали воздействие на моё интеллектуальное и духовное формирование. Наташа, в силу различных обстоятельств, не сыграла такой роли в период становления моего характера. Она всегда была рядом, я чувствовал её любовь и заботу. Я был абсолютно счастлив, живя с ней, её мужем, чьё влияние на меня трудно переоценить и кого я с гордостью называю своим старшим другом. Но к моменту встречи с Полем я был уже вполне взрослым человеком. Моя юность закончилась в Берлине.

Несколько лет Наташа провела в Швейцарии, где она была кем-то вроде гувернантки и выучила французский. Потом она переехала в Париж; когда она вернулась в Берлин, она курила.

Наташа не знала, как оправдать этот факт маме (мама никогда не одобряла курение, хотя отец и двое сыновей имели такую привычку) и не нашла ничего лучшего, чем сказать, что с ней приключилось нечто ужасное. Мама тут же вообразила, что Наташа ждёт ребёнка, но вздохнула с облегчением, узнав о пристрастии к сигарете. Студенческий друг Виктора Эрнст Шуле, немного говоривший на русском с сильным немецким акцентом, часто появлялся у нас в доме, главным образом из-за Наташи. Он был одним из так называемых «Communists» типичный представитель интеллектуалов 30-х годов. Думаю, его можно было отнести к сочувствующим. Но возможный интерес к Наташе смешивался с интересом к русской семье, членам которой он не очень доверял из-за негативного отношения к советскому строю и коммунизму. Прошло немногим более десяти лет со времени нашего изгнания, но слишком свежо было воспоминание моих родителей о жизни при коммунистах.

Поэтому поддержка и оправдание молодым человеком идей коммунизма часто становилось источником горячих дискуссий. Отец часто сердился, считая, что спорить с ним бессмысленно.

В летний период, когда наша семья жила за городом, в квартире оставались Виктор и Эрнст, работая над своими диссертациями. В доме поговаривали, что постоянный звук печатной машинки подозрителен и наводит на мысль, что молодые люди занимаются антинацистской пропагандой. Однажды ранним утром в доме был произведён обыск. Гестаповцы установили, что Шуле был сыном католического священника (был найден чемодан, принадлежавший «Feldkurat Schuele» («Фельдкурату Шуле»)), тут же остановили обыск, извинились и покинули дом. Но оказалось, что именно этот чемодан был набит пропагандистской коммунистической литературой! Впоследствии Шуле стал корреспондентом немецкой газеты в Москве. Виктор просил его взять

интервью у нашей двоюродной сестры (Марина Барцева — дочь маминого брата Николая), установившей мировой рекорд в прыжках с парашютом. Виктор считал, что это вполне оправданный, даже в период «Великого террора», повод для интервью. Шуле разыскал Марину, взял интервью и сказал, что он является другом Виктора. Недавно Марина рассказала мне, что сразу после их беседы она доложила в соответствующие органы о встрече с немецким корреспондентом. Не сделай она этого, ей бы предъявили обвинение в связях с западной разведкой. За общение с иностранцем Марина была арестована и провела несколько месяцев в тюрьме.

После войны мы узнали, что Шуле погиб на русском фронте. Судьба. Погибнуть от рук тех, кем он восхищался.

Швейцарский студент (?) Ричард Штанге, молодой человек огромного роста, также ухаживал за сестрой. Летом 1938 года я встречал его в Лондоне. Хотя он и угощал меня чудесным обедом, я не особенно любил его, и более того, был против каких бы то ни было отношений с Наташей.

Сын Поля и Наташи — Миша родился в «день подарков», на второй день рождества в том же году, меня просили быть его крёстным.

За несколько дней до начала войны Поль и Наташа сняли дом в предместье Лондона Голдерз Грин. (Наташа и сейчас там живёт.) В конце августа мы с Виктором вернулись из Франции. С началом войны Виктор был принят в службу радиоперехвата на Би-Би-Си и переехал в Ивишем, графство Вустершир. Я остался с Наташей, пока она с ребёнком не переехала в Глостершир. Поводом для переезда послужили начавшиеся ночные налёты на Лондон. Я присоединился к ним (в Ивишем я выращивал помидоры; таков мой вклад в победу), пока в октябре 1941 года не было принято моё заявление о зачислении в английские военно-воздушные силы. В октябре 1942 года я попал в Северную Африку, где принял участие в боевых действиях. В начале 1942 года я неожиданно серьёзно заболел. У меня обнаружили воспаление спинного мозга, и я был отправлен в инфекционную больницу в Труро. Первые 3 — 4 недели я был в тяжёлом состоянии. Виктор и Наташа очень волновались за меня. Навещая меня в больнице, они приносили книги, одну из которых, «История Сан-Микеле» (автор Аксель Мунте), я люблю читать и сейчас. Прочитайте эту книгу в зрелом возрасте. Виктора успокоили его коллеги — некий Катков — сказав, что менингит уже не является смертельной опасностью. «Твой брат скоро поправится, но, к несчастью, останется идиотом». Пророческие слова?

Поль был зачислен в ряды английских военно-воздушных сил в чине офицера и был направлен в радиоразведку. По странному стечению обстоятельств, я оказался в том же подразделении. В конце августа 1943 года Поль погиб, когда в корабль, на котором он находился («Н. М. S. Egret»), попала бомба. Случилось это в Бискайском заливе. Наташа получила письмо от капитана корабля, в котором подробно сообщалось об обстоятельствах гибели её мужа. Тело найдено не было.

Маленький

В нашей семье я был самый младший, «маленький», что давало мне массу преимуществ. Насколько я могу судить об этом, я не был избалованным ребёнком в привычном смысле этого слова (это было невозможно хотя бы только потому, что мамина любовь ко мне всегда соседствовала со строгостью), но, в силу разницы в возрасте между мной и тремя старшими детьми, я всегда находился в центре внимания и любовного отношения со стороны всех остальных. Много в нашем доме делалось исключительно в расчёте на меня. Мама часто говорила: «Оставьте это для маленького» или «Не шумите: маленький спит». Отношение ко мне братьев станет понятно, если вспомнить, что именно они научили меня играть в футбол, играть лучше, бегать быстрее и проворнее, чем большинство немецких мальчишек. Они всегда были готовы поделиться со мной своими знаниями и умением, идёт ли речь о футболе, об общих знаниях, о философии.

Только став отцом двух маленьких мальчишек, я понял, что по-иному отношусь к ним, чем к Серёже, когда ему было столько лет, сколько им. Я объясняю это тем, что с появлением на свет

моих младших сыновей я переступил порог «зрелого» отцовства. (Своеобразие моего взаимоотношения с Серёжей шло от трагичной ситуации в семье.) По той же причине, в большей или меньшей степени, любовь отца ко мне проявлялась сильнее, чем к старшим детям. Было бы неверно утверждать, что он любил меня по-иному. На наши взаимоотношения с мамой влияли специфические черты её характера. Она всегда была строгой, но справедливой и любящей мамой. Все мы, а я особенно, ощущали её постоянную заботу. В общем, я пребывал в атмосфере всеобщей заботы и покровительства, что не мешало им негласно давать мне возможность принимать участие в их делах и поступках. Всё это создавало своеобразный образ жизни или, скорее, особый дух семьи Франков. Я знал, что это мне есть место во всех событиях, которые происходили в нашей семье, и ради меня может быть сделано много только потому, что я «маленький» (но и у меня были свои обязанности и своя доля ответственности). Я знал, что могу задать любой вопрос на любую тему и немедленно получу на него исчерпывающий ответ. Меня окружали исключительно знающие, внимательные люди, мои родные.

Возможно, такая обстановка в семье послужила причиной «инфантильности» (чрезмерно сильное выражение) моего характера. Даже теперь, в старости, я продолжаю подсознательно относиться к себе, как к «маленькому», и давно удивляюсь тому, что стал взрослым, и не желаю верить в то, что становлюсь стариком; я просто психологически заблеваю, когда мне говорят, что очередная болезнь, типичная для моего возраста, добавляется к моему «послужному списку». Вот поэтому я часто совершаю поступки и испытываю ощущение, не свойственные людям моего возраста. За время моей сравнительно долгой жизни я сознательно научился успешно справляться с трудностями «роста», позже — старения; в моём подсознании всё ещё идёт борьба между жестокой и неизбежной реальностью моего возраста и состоянием зависимости от других. Это лишь моё предположение, но мне кажется, что момент моей физической смерти я встречу, ощущая себя молодым душой.

Действительно ли это так или это всего лишь самообман, судить не мне. Возможно, мы должны жить и чувствовать в соответствии со своим возрастом или, может быть, мы должны позволить собственному ощущению своего возраста определять нашу жизнь?

* * *

Ещё не достигнув возраста половой зрелости, я ощущал почти гипнотическое воздействие на моё воображение тайны взаимоотношений полов. Ничего не зная, я чувствовал, что эта странная волшебная сила часто управляет жизнью человека. В семье эти вопросы никак не обсуждались. Считалось, что секса просто нет, или, хуже того, секс существует, но от него должно отказаться. Такое отношение к проблеме вело к нелепым, даже жестоким поступкам, что прежде всего относилось к маме. Она могла зайти в мою комнату, когда я уже спал и проверить, была ли у меня эрекция. Мама не наказывала меня за это, но по выражению её лица и голосу я понимал, что она категорически не одобряет этого и считает проявлением дьявольских сил, результатом непристойных мыслей (грязных сновидений, если она знала, что это такое). Всё, что связано с сексом, казалось ей, идёт от дьявола; думаю, где-то в самой глубине души она оспаривала Божий замысел продолжения рода человеческого столь неприличным способом, да ещё и доставляющим наслаждение мужчине и женщине. Мне было стыдно признаться в этом Ви. К счастью, со мной это длилось недолго. Теперь я понимаю, что, несмотря на присущие отцу пронырливость и прозорливость, он оставался «в плену» 19 века, викторианского пуританства. Но ему принадлежит и рассуждение о том, что влечение полов — это некая условность Бога, чтобы быть уверенным в непрерывности продолжения рода человеческого. Отец отрицательно относился к психиатрам, подобным Фрейдю. Его мнение на этот счёт было следующим: в каждом доме есть туалет, однако Фрейд думает, что каждый должен жить именно в нём, считая это место главным в доме... Подобно многим великим людям, Фрейд стал пленником своих собственных, несомненно величайших открытий. Отец отмечал, что некоторые психиатры («Psyche» на греческом означает «душа»!) отрицают само существование души, уверовав в то,

что человек находится в плену своего подсознания. В возрасте 13 — 14 лет в школе нас ознакомили с брошюрой, посвящённой теме секса, выглядело это наивной попыткой школы (или нацистского министерства образования) дать сексуальное воспитание мальчикам, болезненно переживавшим сложный период достижения половой зрелости. Нам было строго наказано передать брошюру родителям, не вскрывая обложку. Я, конечно, не смог побороть любопытство и прочитал, после чего, запечатав обложку, отдал отцу. Он познакомился с содержанием брошюры и вернул её мне. Его смущённый вид (никогда прежде я его таким не видел) доставил мне некоторое злорадное удовольствие, за которое мне сейчас стыдно. Ничего нового для себя я не узнал из этой книжки, поскольку источником моего знания жизни были школьные друзья. Мне и теперь непонятны стеснительность и замешательство отца, что не позволили ему говорить с нами о проблемах взаимоотношения мужчины и женщины и попытаться объяснить нам тайну продолжения рода на земле. Несмотря на его мудрость, он был совершенно беспомощен в объяснении детям столь важных и деликатных материй.

Мне кажется, такое положение вещей было вполне типично для среды русской интеллигенции. В юношеские годы я относился к сексу — или, скорее, к сексуальному влечению — как к таинственной и (возможно, определение покажется шокирующим, но, на мой взгляд, подходящим) Божественной силе. (Вспомните, что Шницлер верил во взаимную связь сексуального влечения и страха смерти.) Незадолго до отъезда из Берлина я стал мужчиной; имея столь ничтожный опыт, я не переставал поражаться той огромной роли, что играет в жизни человека (и моей жизни тоже) влечение к другому человеку. Иногда я слышал, как братья делились впечатлениями от встречи с девушкой, и это настраивало меня на то долгожданное время, как я вырасту и отведаю наконец-то запретный сладкий плод.

Процесс формирования и становления моего характера проходил в несколько этапов. Отчётливо помню то эмоциональное состояние, которое сопровождало пробуждение национализма. Идеи скаутского движения способствовали воспитанию моего юношеского патриотизма; я всей душой стремился к России. Тосковал я по русским людям, «живому» языку, испытывая чувство жалости к себе, вынужденному в силу исторических обстоятельств жить в чужой стране. (Мы, русские девчонки и мальчишки, называли немцев «Laestige Inlaender» («несносные аборигены»), в ответ на обращение к нам «Laestige Auslaender» («несносные чужеземцы»). Теперь я понимаю, что, несмотря на все наши трудности, это было несправедливо). Все мои юношеские годы меня не покидала тоска по «моей» стране. Будучи уже взрослым человеком, я не мог отделаться от странного, почти физического ощущения себя иностранцем, независимо от того, в какой стране мне приходилось жить. Позже я начал понимать, что моя «непохожесть» даёт мне некоторые преимущества, одно из которых состоит в том, что я могу чувствовать себя везде «как дома». Со всей детской непосредственностью я переживал своё открытие в мире животных и насекомых, души которых оказались безгрешными. Эта трогательная наивная вера не позволяла мне убивать мух, комаров. Я часто «спасал» бедных насекомых, попавших в сети паука, с радостью отдавал себя на съедение комарам, получая от этого своеобразное удовлетворение. Я искренне убеждал своих родителей разделить мои взгляды на этот вопрос. Должно быть, им трудно было пережить присутствие такого идеалиста, который ревел всякий раз, как кто-нибудь из них убивал муху. В течение года я пребывал в этом сентиментальном настроении; потом всё прошло. С тех пор (а может быть, и тогда) я с удовольствием ем говядину или курицу, не испытывая волнения по поводу загубленных безвинных душ.

Когда мне исполнилось 9 лет, я решил стать художником. Дядя Лёва, а мои родители считались с его мнением, считал, что я не лишён таланта. Правда, много позже он говорил мне, что преобладающее большинство людей творческих — включая его самого — остаются без денег и куска хлеба. Дядя Лёва предложил мне стать торговцем картин. Всё, что было нужно, это небольшой начальный капитал, немного знаний (скорее интуиции) и много удачи. К сожалению (или к счастью), я не последовал его совету; мои творческие амбиции испарились с началом войны. Летом 1939 года я с родителями жил в Фонтане-о-Роз (предместье Парижа) и Александра Экстер дала мне несколько уроков по живописи, темой которых была композиция.

Я приходил к ней через день, по утрам. Александра Экстер жила на Авеню де Роз, в 10

минутах ходьбы от нашего дома. Преподавала она превосходно, но я был плохим учеником. В свои 19 лет я был абсолютным глупцом, не понимая, насколько неповторимым художником была Александра Экстер и как многому я мог научиться у неё. Она была высокой, невероятно полной дамой. Её движения, манера говорить, мужской тембр голоса наводили меня на мысль о том, что она лесбиянка. Её муж — не помню его имени — был гомосексуалистом. Он выполнял всю домашнюю работу, часто мы встречались с ним на рынке, где он торговался с продавцами, с невероятным акцентом произнося французские слова. Приводить дом в порядок и готовить пищу входило в его обязанности. Во время наших занятий раздавался стук в дверь, потом на цыпочках входил хозяин дома и предлагал нам кофе. Мои уроки не оплачивались. Александра Экстер принадлежала к кругу русской интеллигенции, что исключало денежные расчёты между ней и отцом. Она была очень ласкова со мной, называя меня Васюша, так меня никто прежде не называл. (Васюта — так обращалась ко мне мама, когда не сердилась на меня; отец обычно говорил «дружок»; Наташа называла меня Сюта, а братья — Васик.)

Я необычайно сильно увлёкся рисованием в то время и стал проявлять интерес к истории искусства. У меня собралось несколько книг (которые я так и не прочитал, просмотрев лишь репродукции). На книжной полке я соорудил замысловатую штуковину, позволявшую мне выдвигать любую картину, нужную в данный момент. Я продолжал рисовать, но постепенно я охладел к этому увлечению. Только в Лондоне, когда я жил у Наташи, мой интерес к живописи вновь пробудился; сказалось влияние полотен Модильяни и Руо. Огромное влияние на меня оказал и Пикассо. Занятия живописью мне пришлось оставить, когда я был зачислен на службу в британские военно-воздушные силы в октябре 1941 года.

Ещё в Берлине я составил завещание; весьма наивный поступок. Главным пунктом в нём значилось моё желание быть погребённым с репродукцией «Моны Лизы» на груди. Гроб должен был быть покрыт российским флагом, а во время церемонии должен был звучать шубертовский квартет «Tod und das Maedchen» («Смерть и девушка»).

И теперь, спустя полвека, музыка Шуберта остаётся одной из самых любимых. Пусть не звучит она на моих похоронах, но, пожалуйста, помните, что я с самого детства люблю её. Неоднозначно отношение моё к российскому флагу. Думаю, не стоит уходить в вечность таким образом, ведь после смерти теряет всякий смысл национальность человека. Да и Мона Лиза мне там ни к чему.

Благодаря нашему благожелателю (Густав Густавович Кульман), я смог получить стипендию от «Фонда по спасению детей» и визу в Англию. 27 октября 1937 года я оставил Берлин. Мне было 17 лет, 15 из которых я провёл в Берлине.